

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

203  
2282  
**Н О В Е Л Л Ы**

ИЗ ЦИКЛА

**„Т Ы С Я Ч А“**



\*\*\*

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

№ 25—26 (868—869)

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

МОСКВА — 1935

АЛЕКСЕЙ ГОЛСОН

БИТВА ПОД НАРВОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

МАРК ТВЭН

БАНКОВЫЙ БИЛЕТ

«РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

МИХАИЛ КОЛЫЦОВ

В НОРЕ У ЗВЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

БАНЩИК И ПРОФЕССОР



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО

ДЕКАМЕРОН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

А. КАПИН И МАШЕРИН

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ  
РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

ПОДПОРУЧИК КИЖЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

Новеллы  
из цикла  
«Тысяча»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ШАЛВА СОСЛАНИ

КОНТРОЛЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕНИЗДАТ»  
М. 1925 г. 1-е изд.  
100 000 экз.

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

Я 203  
2282

ПЯТЬДЕСЯТ НОВЕЛЛ  
ИЗ ЦИКЛА  
„ТЫСЯЧА“

Журнально-газетное объединение  
Москва—1935



2014046888



35-28858

Ответ. редактор Ал. ДЕЙЧ	Выпускающий А. Гуревич
Издатель Журнально-газетное объединение	Изд. № 157
Уполномочен. Главлита Б—4892	Зак. тип. № 265
Статфор. А 105×14 мм. 2½ печ. листа	Число зн. к 1 ч. л. 51 200
Сдано в набор 20/III—35 г.	Подп. к печ. 2 /IV—35 г.
Типогр. и цинкогр. Жургазобъединения, Москва, 1-й Самотечный, 17	



## ОТ АВТОРА

Цикл «Тысяча» будет состоять из тысячи новелл, в каждой из которых показывается человек, живущий (или живший) в годы нашей революции,—показывается через событие, поступок, через какую-нибудь черту, его характеризующую, в той или иной мере основную в нем и типичную (для определенного периода его жизни).

«Тысяча» должна быть разнообразна. Хотя бы двух новелл похожих не должно быть, как нет двух людей нашей страны, которые бы не отличались друг от друга. Гнусная и глупая сказка о штампованных коллективах должна быть окончательно забыта. Она смешна для всякого, кто хоть немного знаком с нашей жизнью.

Почему автор остановился на тысяче?

Потому что тысяча — это первое из чисел, которым измеряется жизнь масс.

Но, по существу говоря, наша неслыханная эпоха так широка, сложна и величественна, что можно и нужно изображать даже не одну тысячу, а значительно большее количество людей...

Никогда еще не было эпохи столь богатой, так все-сторонне показывающей великую, прекрасную, труд-

ную, капризную и до бесконечности разнообразную природу человека, как наша.

Работа над «Тысячью» длится около года. Пока написано и напечатано больше двухсот новелл. Вниманию читателя в данной книжке предлагается пятьдесят новелл.

Новеллы не имеют заголовков. Некоторых читателей это удивляет, но поскольку во всех новеллах показываются люди, объединенные одним историческим фоном, отдельные заголовки к каждой новелле вряд ли нужны.

---

Разговор был довольно крупный. Некоторые посетители вокзала даже останавливались. Один из пассажиров, с большим чемоданом в руке, поставил его на каменный пол и внимательно слушал. За большим прилавком, заложеным газетами и книгами, неистовствовала маленькая женщина.

— Вы не имеете права!—кричала она.—Мне это надоело! Я буду жаловаться начальнику вокзала. Что это такое в самом деле! Безобразие! Я из-за вас работать не могу! Каждый день, каждый день, и утром, и днем, и вечером—пристаете!

Все это относилось к носильщику, который в смущенной позе стоял сбоку у прилавка. Высокий, плечистый, повидимому, очень сильный, он терпеливо слушал и молчал.

Пассажир, поставивший чемодан на каменный пол, поднял его, сделал два шага по направлению к киоску, опять поставил чемодан и продолжал слушать.

— Не смей подходить сюда!—продолжала кипятиться женщина.—Я буду тебе давать каждое утро газету, только не торчи здесь, пожалуйста.

Носильщик медленно отошел.

Пассажир с чемоданом не выдержал. Подошел к стойке, купил газету и спросил:

— А что он натворил, этот самый носильщик?

Продавщица охотно поделилась своим огорчением:

— Понимаете ли, он недавно ликвидировал свою неграмотность, научился читать. Вот с тех пор прямо несчастье. Как только свободен—так все мне тут перевероршит: все газеты разворачивает, смотрит, все картинки ему нужно видеть, все подписи ему нужно прочесть! И не только газеты! Все книги перевероршит, журналы, во все лезет! Прямо не знаю, что с ним делать! Ведь работа у нас нелегкая: пока все сложишь да с покупателем надо работать, а его никак не отгонишь — одну газету возьмет, стоит вот тут, читает, ищет чего-то, потом другую, потом третью... Все ему нужно знать. И сюда, на полку, лезет, книжки достает, каждую обязательно перелистывает... Прямо все нервы испортил... Уж я не выдержала и прогнала его. Безобразие... Хочешь читать — возьми газету, возьми книжку... Я сама тебе дам, только отвяжись, наконец!

Пассажир ушел. Еще минут двадцать ее маленький носик был красен от возбуждения. Затем она успокоилась.

---

Работал в цехе. Шли дни за днями. Трудности, преодоления, разрешение задач. В последнее время возрос шум от новых станков. Как-то стало все серьезнее в цехе, стало труднее не отставать. Руки мыть после смены надо было дольше — масло глубже въедалось в кожу.

К концу месяца выяснилась недоработка. Лица стали сумрачнее. Каждый чувствовал себя виноватым. Часто совещались бригады. Тяжелые два месяца.

Бывали дни, когда ему казалось, что им недовольны.



В самом деле, может быть и он не так работает? Его станок работал в общем исправно, но может быть кто-либо другой заставил бы его по-иному работать,— удвоить, утроить продукцию? Сколько раз он видел, что делает способный человек! Казалось бы, ничего нельзя сделать со станком или инструментом. Ничего! Но вот приходит способный человек, и все поворачивается в другую сторону. Продукция увеличивается, как-то все оживает... Неужели нельзя сделать больше того, что он делает?

И вдруг—демонстрация. Все на демонстрацию! Революционный праздник! Захвачен весь город! Цветы! Самолеты! Музыка! Колонны за колоннами! Он затерян. Кто он такой? Песчинка! Людская завитушка! Человеко-единица.

Он стоит в сотом—или двухсотом или трехсотом—ряду своего завода. Медленно продвигается, спокойно стоит, когда продвигаться нельзя. А чем ближе к Красной площади, тем дольше приходится стоять. Стоят по десять минут, по пятнадцать, по двадцать. Хороводы, танцы. Пляшут девушки, пляшут парни. Он не пляшет. Почему? Как-то не выходит. Мешает неловкость.

И вдруг он чувствует, как его схватили за плечи чьи-то крепкие руки. В чем дело?! Так грубо! Что за хулиганство! И за голову еще схватили. Нет, это чорт знает, что такое! Кто-то зажал голову железным локтем. В чем дело?! И за ноги схватили!

Он падает на чьи-то руки. Вокруг улыбающиеся лица, чей-то раскрытый рот кричит «ура»... Он ошеломлен, опрокинут...

И вдруг взвивается в воздух от могучего толчка

десятка рук... Он летит высоко, метра на два; он не подготовлен и, вероятно, смешон. Так ему кажется. Кепи слетело, ноги в воздухе растопырены... Он падает на руки и опять взлетает еще выше... Опять падает и опять взлетает под оглушающие крики «ура»...

Его качают. Кто же его качает? Товарищи по цеху... Неужели же к нему так хорошо относятся?! Неужели он заслужил такое внимание?!

Наконец, отпускают. Подают кепи, хлопают по плечу, жмут руку. Колонна движется дальше. Он чувствует под собой легкую почву. Глубокая радость пронизывает его. Все кажется ему еще более радостным...

Он впервые почувствовал и навсегда запомнил первый привет коллектива.

---

Нельзя определить, кто он: курд, туркмен, узбек, татарин, может быть армянин, может быть ассириец, может быть европеец, до предела просмоленный и обугленный солнцем. Главное: на смуглом, остром лице — злая, окончательная, сосредоточенная и титанически сдерживаемая ненависть. Кто его обидел? Когда нет клиентов, он сидит в своей будочке чистильщика обуви неподвижно, глядя на тротуар, а не на людей. Он отгородился от мира в своей фанерной будочке и не хочет никого видеть. Если в поле его зрения попадает прохожий, он отворачивается, как от гадины. О, если бы он мог расправиться с людьми!

Кто же он такой? Откуда он взялся?

Откуда попал в далекий крохотный городок седьмой республики?

Он индивидуалист. Непримируемый и крайний. Он дрался с революцией, и революция отшвырнула его незаметно, как отшвыривает соринку могучий ветряной поток. Он метался по городам, терял квартиры, друзей, детей, деньги, нажитые торговлей. Он приходил в последнюю ярость и, наконец, в бессилии бежал в далекую седьмую республику и отгородился от всех — и от революции, и от любых попыток понять ее — в этой будочке чистильщика обуви.

Единственное, что он приемлет, — это сапоги и ботинки, которые чистит и получает за это по рублю. Но он даже и об этом не хочет говорить с людьми.

Над его головой на фанере написано: «Чистка — рубль», и если переспрашивают, он не отвечает, а указывает на надпись пальцем.

Когда он кончает чистить обувь, он тоже не говорит ни слова. Он не хочет говорить. Он не хочет также стучать щеткой по ящику.

Он — звонит. У него на земле, под низеньким стульчиком, на котором он сидит, стоит звонок. И, кончив чистить, он резко звонит, давая знать клиенту, что он свободен. На лицах некоторых — удивление, часто улыбка, но он не смотрит на лица своих клиентов. Ему наплевать, какое у них выражение.

---

На аэродроме трава была сырая. Давно зябло в утренней прохладе несколько человек, пришедших по делу. Они в первый раз были на аэродроме в утренней деловой обстановке и с интересом смотрели, как снимали с машин чехлы, как заводили моторы. К одной из заведенных машин подошла невысокого роста де-



вушка в вязаной шапочке, в скромном платье. Подошла к машине и попробовала сразу забраться на место пилота. Надо было поставить ногу на высокую ступеньку. Помешала узковатая юбка. Она подняла юбку немного выше колена, поставила ногу и взобралась. В кабинке пилота она надела кожаное пальто, шлем, и машина почти сразу взвилась вверх.

— В чем дело?— спросили посетители, хотя знали, какой будет ответ.

И им ответили:

— Ни в чем. Это студентка авиационного института. Пилот. Выполняет учебные задания.

Задание было сложное. Машина делала круги, поднималась, опускалась, делала виражи, то совсем низко опускалась над аэродромом, то высоко взвивалась в синюю высь. Примерно через полчаса она плавно опустилась и подъехала к тому месту, откуда был взят старт. Еще через несколько минут девушка-пилот вылезла из кабинки и легко соскочила с той ступеньки, на которую взбиралась не без труда. Повозившись около машины, она так же спокойно и скромно, как шла к ней, направилась к одному из зданий. Она проходила мимо группы людей, не спуская с нее глаз. Некоторые смотрели на нее с открытыми ртами, как на нечто невиданное и совершенно новое. Она чувствовала на себе эти взгляды. Они жгли ее радостью и гордостью. Она была счастлива, счастье шло с ней, делало с нею каждый шаг, и, проходя мимо группы людей, смотревших на нее, она крепко сжала губы и опустила лицо.

---



60 лет. Старый партизан. Возглавлял отряд и долго боролся с басмачами. Многие помнят его улыбку, слишком удивленную и радостную для старика, и его ярость, сделавшую его имя известным во многих ущельях.

Сейчас он техник-агроном. Любовно работает, вдохновляя молодежь и сам вдохновляясь ею.

Он строен и высок, как все таджики, и красив, когда в закате солнца величаво едет на высоком коне по новой дороге, на которой каждый утес, каждый камень связан с недавней длинной и упорной борьбой.

Но он мало думает о прошлом. Он слишком занят текущей работой совхоза. Он ездит из района в район, и порой ему бывает трудно. Веселая, удивленная улыбка сходит с его лица.

Иногда он что-то странное делает в горах. Вот он пробирается по тропинке на испытанном коне. Он встречает знакомых и товарищей. Одни проезжают на автомобилях. Они перебрасываются с ним парой деловых слов и вопросов. Другие плетутся на арбах — у него есть дело и до них.

Но все же порой он отдаляется и от тех и от этих — он взбирается на узкую, старую тропинку, по которой теперь уже нет надобности пробираться, ибо есть новая дорога.

Что же несет его туда? Он уединяется, он явно уединяется.

И за ним подглядели... Нет тайн и в горах и в ущельях...

Он забирается в уединенное место, где сутками он раньше выжидал басмачей, а сейчас он слезает с коня,

привязывает его к камню, становится на колени, достаёт из-за пазухи папку с бумагами, карандаш и долго вычисляет количество зерна, продукцию совхоза, сдачу норм и многое другое.

Почему же здесь, в укромной расщелине, на трудной тропинке, по которой конь ходит сам и им нельзя управлять?

Старику трудно дается счет. Это единственное, что его мучает, — молодые так ловко подсчитывают, быстро, упрощенным способом, а он не умеет. Он должен тут, на камне, выписывать все цифры отдельно, медленно, по-своему их складывать и вычитать. Позор! Иногда он прибегает даже к каким-то палочкам, к кружкам... Он ни за что не хочет, чтобы об этом знали. Ему стыдно. И с большим трудом, много раз проверяя себя, он все же подсчитывает, ибо — так или иначе — ошибаться нельзя...

---

Старый шахтер. Забойщик. Удивительная кровь. Он почти не устает. Сорок лет непрерывного труда. В его табличках мелькает сто пятьдесят процентов, сто тридцать пять, сто шестьдесят два. Ему давно время получать пенсию, но он не хочет бросать работы. Лицо в глубоких морщинах, но глаза восторженны, и хорошей, располагающей стеснительностью сковаца высокая костлявая фигура. Его хвалят. Часто. Надо что-то сказать в ответ, но он не знает, что. Вертятся в воздухе слова, которые полагается говорить старикам:

«Работать, чтобы показать пример молодежи»...  
«Мы, старики, еще докажем, что мы молоды»...

Но это кажется ему чепухой. Как-то неловко повторять это. Какого чорта «пример молодежи»... Молодежь прекрасно работает. К тому же это слышано бесконечное количество раз. «Показать, что мы молоды» — тоже чепуха. На собраниях любят аплодировать за это. Выходит старик и кричит:

— Мне вот шестьдесят лет, а я молодой...

Обязательно будут аплодировать.

Но это не нравится ему. Нет, не то, не то. А что же сказать, когда хвалят? Ведь что-то сказать нужно. Сказать, что просто хочется работать, быть живым человеком, как все? Полезным членом общества? Так, что ли? Но не выходит это.

Он и не говорит почти ничего. Не говорит. Тем не менее, выбрали делегатом на конференцию.

Сильно взволновался. Ничего не мог сказать. Поехал в новый городок, недалеко от шахт. Сорок лет знает эту дорогу. Сколько сапог исхожено по камням и грязи! Сколько горестных воспоминаний, обид, унижений, нищеты! Тяжелая была жизнь!

Теперь по этой же дороге едет на машине, в чистом костюме, побритый, свежий. Воздух, солнце — не те. Воздух новый, солнце новое.

Приехали в городок—в гостиницу. Новый красивый дом, деревья, чистая комната, свежая постель! Чистота, опрятность, уважение, порядок! Вокруг товарищи. Невозможно... Горло сдавлено... Куда деваться? В коридоре телефонная будка. Скорее туда...

— Елисеев, куда ты? Сейчас завтрак.

Не отвечает. Спешит в телефонную будку. Скорее. К счастью, не занята... Зашел, закрылся. И заплакал... Обильные слезы — от счастья, от захватывающей ра-



дости — полились по щекам. Минут десять не мог успокоиться. Наконец успокоился и вышел, бормоча себе под нос:

— Старость. Трудно сдерживать чувства.

---

Над городом летали самолеты. Спускались на парашютах мужчины и женщины. Играла музыка. В городе был праздник. Недавно кончился большой парад. Залитые солнцем улицы были переполнены народом.

Большой пляж был тоже переполнен. И тут в гуще голых тел, стоявших в воде, купавшихся и отдыхающих, обращал на себя внимание черный сутулый человек с впавшей грудью, — видно, чувствовавший отвращение к воде, к обильному солнцу и ко всему этому блеску и радости, которые были разлиты вокруг, но пришедший сюда потому, что потянула его сюда женщина. Вот она. Его женщина. Вот она! Выше его ростом, толстая, ленивая, совершенно развращенная бездельем и образом жизни купленной самки. Но привлекательная, острая, грешная. Он до смешного оберегал ее, не отходя от нее ни на шаг, держа ее за руки, за плечи. Она, совершенно отупевшая от безделья и паразитизма, капризничала. Шла в воду — ежилась, фыркала, гримасничала, бросала кокетливые взгляды на мужчин, а он, раб, привязанный к этому телу, шел за ней, видимо, страдая от ревности, воды, но не доверяя ее ни воде, ни песку, ни солнцу, ни взглядам окружающих. Что это было? Страсть? Неуверенность в себе? В ней? Так или иначе, это было главным в нем, повидимому, не только в этот солнечный день, в этот праздник. Это было главным



в нем продолжительное время, и это поражало своей убогостью и никчемностью—в этот светлый, радостный, праздничный день, в этом обилии людей, солнца, музыки!

Сошлась с парнем (недоучилась в школе, приехала одна в Москву, на работу не пошла). Через полгода парень бросил. Попала к товарищу. Через три месяца от этого—еще к другому. Озлобилась, опустилась. Теория: все люди—мерзавцы. Стали выражать «сочувствие» знакомые, полужнакомые, и она оказалась уличной проституткой. Ходила по Страстной площади, по Тверской, по бульварам. О своем падении мало думала, как обычно об этом мало думают падающие люди. Обычно думают, как прожить день, два. А падение свое считают временным. Ну, конечно, это временно, все пройдет, изменится, что-то вообще произойдет. Но ничего не происходило. Ее покупали, платили. Ее узнали другие проститутки. Она ходила, как полагается, по определенным кварталам, не заходя в другие, чтобы не мешать коллегам. И вообще соблюдала все законы и традиции.

Однажды в ветреный осенний вечер выбежала на улицу, чтобы поест в столовой и сейчас же вернуться домой,—этот вечер она думала быть дома. Оделась легко. Ее остановили—резко и неожиданно—два милиционера и предложили пойти в милицию. Это было так некстати, главное—так неожиданно! Один крепко взял ее за руку—о бегстве не могло быть и речи. Обычные слова, возмущение не действовали. Никак не действовали. «Я не одета!—кричала она.—Я вышла из дому пообедать. Дайте мне взять пальто,

дайте мне взять теплую кофточку!» Но ей ничего не дали взять. Она очутилась в милиции, в комнате, где уже было немало проституток, точно так же внезапно задержанных на улице. На следующий день всех отправили на вокзал, посадили в вагон и увезли. Не помогли крики, протесты. Некоторые плакали, ругались, другие были покорны, но и те и другие понимали, что им ничто не поможет. Путешествовали несколько суток. На каких-то узловых станциях одних снимали и увозили в другие места. Оставшиеся продолжали продвигаться куда-то. Она с еще несколькими проститутками была доставлена в далекую окраинную автономную область. В дороге все исхудали, измучились. Питание было плохое, томила неизвестность, ошеломлял резкий перелом в жизни. Что будет? Что с ними сделают?

Ничего с ними не сделали. Их привезли в новую, оживленную, трудовую местность. Здесь были бараки, небольшие дома, стройматериалы, котлованы, лес. Здесь можно было делать только одно: работать. Здесь было не до шуток. Никто не обратил внимания на приезд девушек. Вместе с ними приехало еще много народу. Через несколько часов они были определены на работы. С ними обращались просто и вежливо. Ей ввиду отсутствия квалификации попало место уборщицы в столовой. Она в первый раз горячо и искренно заплакала, когда после работы отдохнула, почувствовала тепло, переоделась и получила честно заработанный ужин. Никто ни о чем ее не расспрашивал. Она чувствовала себя равной среди равных. Через несколько дней она потянулась к бумаге. Ей казалось, что нужно кому-то писать в Моск-

ву, но когда она села писать, то оказалось, что в сущности ей писать некому. Она работала несколько неумело. Ей никто ничего не говорил, что надо работать лучше. Она достигла этого сама. Через месяц ее сделали подавальщицей. Она стала одеваться чище, изящней. Через несколько месяцев она почти забыла о Страстной площади, о хождении по бульварам, о знакомствах, о своей проституции. Это казалось неопределенным, далеким сном. Она начала громко говорить, весело смеяться. Многим нравился ее смех. Она посвежела, похорошела. Она нравилась многим, но никому не давала повода для ухаживаний. Дорожила покоем, работой, хорошим отношением. Шла жизнь, завязались знакомства, появились интересы. Ее полюбили в коллективе. Через год вышла замуж — за крупного работника, инженера, который приходил в столовую и долго к ней присматривался. На стройке несколько школ и курсов. Сейчас она жена одного из крупнейших работников и учится на общеобразовательных курсах. Ей двадцать три года. Она прилежна, добросовестно пишет в своих тетрадках, учится и читает. Она состоит также и в кружке по изучению английского языка. Иногда по вечерам забавляет мужа английским произношением. Ему что-то нравится в этом — как она мило суживает рот, морщит губы. Он просит ее повторить некоторые слова и фразы — она смущенно, смеясь и становясь еще более милой, повторяет... Довольно часто она бывает с мужем в клубе, на концертах, на банкетах. Она спокойна, улыбчива, сдержанно общительна, очень красиво танцует с мужем или его товарищами. Она мало думает о своем прошлом и почти никто не думает об этом из по-



сторонних. Это никому не важно, абсолютно не важно и—по существу—не имеет никакого значения.

---

Они стояли у стола — секретарь районного комитета партии и председатель горсовета. Это была вся власть двадцатитысячного городка, и оба были молоды. Вряд ли кто-либо из них был старше тридцати — тридцати двух лет. К ним приехал гость — видный товарищ. Председатель горсовета предложил показать ему город. Пошли. На улице председатель выглядел еще моложе и на вид зауряднее: френчик, сапоги, пальтишко и кепи. Такие бродили по всем направлениям.

Начинался вечер. Вспыхивали огни в городском парке, играла музыка, что-то приятное и веселое передавалось по радио. Рабочий городок готовился к отдыху.

— Этот дом когда построили?

— Два года назад.

— А этот?

— В прошлом году.

Прошли мимо большой, красиво построенной фабрики-кухни. Огромные светлые окна выдавались на улицу треугольниками. Изящные вышки и выступы путались с деревьями. Это выглядело красиво и привлекательно.

— А что осталось от старых хозяев?

— Больница, театр. Мы их достроили, расширили...

Прошли по нескольким улицам, и почти на каждой строились новые дома, улицы озеленялись. На зеленой лужайке около сквера дети играли — пускали в воздух и ловили игрушечные парашюты с камешками



вместо людей. Некоторые улицы боковые напоминали аллеи сада. Осенними листьями были усыпаны тротуары и края мостовой.

— Эх!—вздыхнул гость.—На такой бы улочке свидание назначить!

Председатель улыбнулся:

— Назначают...

Но видно было, что он хочет чем-то похвастать... Чем-то главным, чем-то существенным... Он раза два пробовал что-то сказать, но не выходило: сталкивался с репликами гостя и других товарищей, которые шли рядом. О том, что видно, он не говорил: видно, что строят, видно, что выстроено, видно, что дома большие, хорошие. Это ясно. Видно, что мостовая новая. Он хотел рассказать о другом. Наконец, он сказал:

— Церквей у нас почти не осталось. На сто семьдесят тысяч населения—сто двадцать в городе и пятьдесят в окрестностях—всего одна... А дома заключения и совсем нет...

Вот именно это хотел сказать председатель горсовета и тут широко улыбнулся... Этим он хотел похвастать.

— Как так?

— Был царский острог, пустовал, мы его и разобрали.

— Что же, преступности нет?

— Есть, но мало. На фабриках свои суды, а тюрьмы специальной нам не нужно. Нет надобности.

Он не удержался и опять улыбнулся. Он явно гордился этим. Это была улыбка новой гуманности, не слюнявой гуманности увядания, а твердой победы нового класса, научившегося строить новую жизнь

всем коллективом, с минимумом отступников, преступников и таких, которых надо изолировать.

...Видному товарищу и его спутникам не хотелось уезжать из этого города, от этого вечера, от чудесной листвы, от зажигающихся огней, от музыки, от шелестящих шагов гуляющей молодежи... Не хотелось...

---

Кто бы мог подумать, что в ней сосредоточилось столько обстоятельств! Ей девятнадцать лет. Она официантка в столовой. Одновременно учится на рабфаке. До окончания остался один год. В столовой работает добросовестно. Белый халат. Быстрые движения. На большом подносе восемь тарелок супа, а поверх столько же вторых блюд. После работы — без халата — на груди, на кофточке, появляется бант. Напряженное выражение лица исчезает. Преобладает уже капризное и улыбочатое. В руках — тетрадка, мелко исписанная. Она хлопает себя ею по коленям. Это роль. Она играет в клубных спектаклях. В пьесе Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — Настеньку. Еще в двух-трех пьесах тоже целые роли. Хорошо читает, хотя не училась в театральной школе. К этим своим выступлениям на клубных сценах относится светски-пренебрежительно:

— Халтура.

Много читает. Часто задумывается. Спрашивает: «Почему Пушкина убил Дантес?» Говорит:

— Работу в столовой брошу. Не дает квалификации. Там только то хорошо, что питание прекрасное. Но мною недовольна администрация.

— Почему?

— Часто аварии бывают. (Смеется.) Супы летят на пол... Толкаются здорово посетители.

На руке часики. Хлопотлива, энергична, жизнерадостна (напевает про себя). Очень занята: работа в столовой, рабфак (учится хорошо), комсомол, поклонники (привлекательна—ямочки на щеках, глаза приятные, ловкая, стройная фигурка), театр, разучивание ролей, чтение. Очень часто и озабоченно смотрит на часики.

Подмышкой у нее почти всегда газетный сверток. Что в нем? Чулки. Для чего? Смеется. Профилактика против аварий: летят супы на пол, забрызгивают чулки. Надо иметь запасные, чистые, потому что из столовой она идет прямо на репетицию в клуб.

---

Томился от одиночества. Бродил по улицам. Познакомился с девушкой семнадцати лет. Она голодала, была одинока, откуда-то приехала, носила — зимою — летнее рваное пальтишко. Поселил ее у себя. Одел, воспитал, учил. В девятнадцать лет стала его женой. Пополнела, окрепла. Черные глаза стали блестяще уверенно. Усики появились на верхней губе. Голос стал зычным. Работала в советском учреждении в качестве «агента для поручений». Была энергична, толкова. Мужа не любила. Он покупал ей всякие вещи, боготворил — не помогало. Он говорил:

— Ведь я тебя спас!

Ничего не отвечала. Скорбно, сокрушенно думал, что нельзя купить человека. Молодая жена становилась все холоднее. Уже были визгливые скандалы с обвинением ее в неблагодарности. Он ее спас, а она



неблагодарна. Молчала. Смуглое крепкое лицо было непроницаемо. Каждый год к ее именинам покупал ей всяких подарков, сластей. На этот раз, накупив всего этого, уехал с утра и вернулся под вечер, побритый и вымытый в парикмахерской,— с цветами. Жены не было. И вещей не было. И все конфеты забрала, и торт, купленный к именинам, и шоколад. Никаких записок. Ясно: ушла к сослуживцу—коренастому пареньку, который иногда навещал ее. Отчаяние. Полное ошеломление. Прошло шесть лет. У бывшей жены дети, а он все еще не может как следует заняться работой. Постарел, исхудал, отстал от всех. Говорит о революции тупые, обывательские вещи. Не в силах читать даже газеты.

---

Большой агитационный самолет сделал три круга над городом и опустился на аэродром. В план его работы в этом городе, как и в других, входило катание лучших рабочих-ударников. Через два дня районные организации распределяли билеты по фабрикам и заводам. В числе других билет получил шестидесятилетний рабочий вагоностроительного завода с сорокалетним трудовым стажем.

— Не откажешься ли, дедушка?—спрашивали его. Билетов было мало и они были нарасхват. Старик энергично отмахивался. В назначенный день и час он явился на аэродром в праздничном костюме, расчесанный и тщательно вымытый, занял в самолете место у окошка и мужественно смотрел вниз. Вначале он был ошеломлен: неужели это его город, в котором он провел всю жизнь? Неужели в этом серовато-



красноватом гнезде с такими узкими улочками, из которых он многие не узнавал, он провел всю свою жизнь? Неужели вот этот игрушечный заводик — это мощный завод, на котором он работает? А река? Эта наивная узкая лужица с желтыми волнишками — неужели это та самая река, которую он мог переплыть только в молодости? Слезы полились из глаз старика. Это были философские слезы раздумья над жизнью, но они сейчас же сменились слезами гордости. Подумать только! Вот что такое достижения! В шестьдесят лет его подняли над городом на огромную высоту и расширили его кругозор, показали ему, что такое жизнь, какое место занимает его город среди необъятных лесов, полей, пространств! На собрании в день авиации ему предложили рассказать о своих впечатлениях от полета. Он выступил сначала смело, переполненный чувством, но после того, как, взмахнув рукой, произнес обращение «товарищи», — запнулся и не знал, что сказать.

— Я увидел все кругом, товарищи... Думал ли я, что в шестьдесят лет советская техника поднимет меня на такую высоту?! У меня расширились понятия... Кругозор... Горизонт... Товарищи! Я увидел все кругом... Все кругом!.. Да здравствует наша техника! Наши достижения!

Он был сильно смущен. И ему было совестно, что несмотря на то, что он произнес только несколько скомканных фраз, что он не мог выразить и сотой доли своего чувства, — ему громко и долго аплодировали.

---

Он пообедал, потянулся и сказал: «Теперь бы хорошо выпить стакан пива» — как вдруг ему сообщили:

— Слушай, тебя вызывали из партийного комитета.

— А что такое?

— Не знаю. Сказали, чтоб позвонил немедленно.

Он пошел, позвонил, и ему предложили сегодня же отправиться по пригородному шоссе на четырнадцатый километр, в сторону, лесом, где расположены бараки лесных рабочих, взять шефство и наладить культурную работу.

Поехал. Немного блуждал, но нашел бараки. Их было восемь и жило в них много семейств. Люди работали и никем культурно не обслуживались. Не было ни лекций, ни развлечений, ни кино. Он обошел сырые новые помещения. Внимательно опросил людей—о работе, о быте. На ходу мобилизовал двух парней. Через десять минут они уже ходили за ним, записывали по его указаниям фамилии, телефоны, адреса. Еще через двадцать минут молодая живая работница с ребенком на руках тоже ходила за ними. В какой-то комнате составляли уже список экскурсий, план посещений театров. Попутно выяснилось, что в двух бараках очень сыро. Звонили заведующему трестом, чтобы немедленно высушили сырой угол. В двух бараках окна были плохо устроены, дуло. Вызвали коменданта, поговорили с ним, чтобы подправили окна. На следующий день в одном из бараков играли после работы на гармонии, пели песни, и рабочие смеялись и с удовольствием отдыхали. В выходной день рабочие из четырех бараков были в кино. В следующий выходной на лужайке перед бараками на полотне;

натяннутом между деревьями, была показана картина. Еще через шесть дней была готова волейбольная площадка. В несколько очередей все рабочие посетили театр. Молодежь получила книги.

Все это происходило негладко и достигалось не очень легко. Надо было звонить, иногда по нескольку раз, пререкаться, много раз ездить, настаивать, но это уже делали всякие люди. Была уже культкомиссия в бараках; работница, которая в первый раз шла за районным шефом с ребенком на руках, была секретарем.

А районный шеф, добродушный парень, который получил предписание позаботиться о культобслуживании барачников, уже забыл об этом... Когда через два месяца он, так же пообедав, по привычке своей потянулся и вновь намеревался выпить стакан пива, его приятель, которому это напомнило срочный вызов по телефону, спросил:

— А что, ты там наладил что-нибудь в бараках?

— В каких бараках?— спросил шеф.

— На четырнадцатом километре.

— А!— вспомнил он.— Там уж давно идет работа. За это время уже в двух других местах нужно было организовывать. А там уже почти все в порядке, только проверять надо.

---

Уехала из дому восемнадцати лет. Жила в столице, училась, работала, каталась на лодках, пела песни. Был один, первый, потом был второй, потом был третий, потом был американец. Незаметно стало двадцать три года, американец купил котиковую шубу. Она висит. Очень неудобно носить ее, особенно когда



встречают товарищи. От американца ушла. Денег нет. Вокруг глаз морщинки. Что-то не то. И вдруг письмо из дому. Отец—рабочий с тридцатипятилетним стажем. На-днях отпраздновали юбилей. Пишет мать. Отцу дали звание действительного хозяина завода, дали пенсию. Затем, какой почет был! Музыка играла. Большой зал клуба был ярко освещен. Речей сколько было! Многие плакали. Потом ужин. Только дочери не было. Отец сколько раз вспоминал... Приезжай хоть сейчас... Прочитала письмо, всплакнула по поводу неопределенности своей жизни. В самом деле, что она? Служит в конторе, близкого человека нет, висит ненужная шуба, от которой почему-то неловко, приглашают на вечеринки с патефонами, на которые все скучнее ездить. Поехала к отцу без телеграммы. Очень волновалась, когда приближалась к дому вечером. Ее не узнали во дворе. Новый дом для рабочих. Новые люди. Сколько перемен за пять лет! Где тут живет отец? На втором этаже. Жаль, что не на первом—нельзя заглянуть в окно. Снизу видно только яркое освещение, хорошие обои, абажур на лампе, тени. Кто же там? Она волнуется, но вскоре успокаивается и входит. Шум, возгласы, радостная встреча. Дочь из Москвы! Она глубоко рада. Оказывается, она совсем не та, какой себя чувствует. Получилось из ее рассказов, что она счастлива, весело, содержательно живет. Работает, учится, растет. Почему она не в партии? Заминка. Так как-то получилось, она была занята, знаете, эта учеба, работа... Да, это была явная заминка. Хорошо, что выручили братья, сестры. Они кричали, шумели. Сестра из Москвы! Через восемь дней ехала обратно. В вагоне самой яркой, глубокой мыслью было: все

изменить в своей жизни. Все. Учиться. Работать. Может быть, на производстве, как отец... Ах, как тяжело. Что делать? Скорее все изменить. Изменить. Изменить. Все изменить.

---

Плантация под Батумом. Рабочий-окультуривщик. Прививает к дикому лимону культурные ростки. Работа трудная. Нужно нагибаться к кустикам. Кустики на уровне колен. Надо либо становиться на колени, либо приседать на корточки и при этом беспрерывно передвигаться.

Один из лучших рабочих. Комсомолец-ударник. Делает две тысячи прививок в день. Необыкновенное количество! Как он добывается этого?

Глаза зоркие, пальцы ловкие, привычные. Но это у всех окультуривщиков. В чем же именно его успех?

Листочки, веточки. Что нужно делать? Надо нагнуть, надрезать, вставить стебелек культурного растения, перевязать и—все. Но оказывается—это не так просто. Это можно делать по-всякому. Он по-особенному увлечен работой. Он в каждой веточке видит, научился видеть свою, особую, неповторимую индивидуальность. Вот эта веточка—хиленькая, ее нужно не надрезать, а уколоть. Эту—резануть полукругом, эту—поглубже, эту—помельче. Каждый листочек, шершавый или гладкий, представляет для него особую живую индивидуальность. Во время работы у него меняется выражение лица. Листья и ветки вызывают в нем все оттенки радости, грусти, разной степени озабоченность.

Мир дышит перед ним бесконечным своим радостным разнообразием. Ему интересно, глубоко интересно

работать, ибо он научился воспринимать великое разнообразие, которое есть во всем живом.

---

Столовая закрывалась. Посетителей почти не было. Усталый официант, пожилой человек, русский по национальности, сидел за столиком и полудремал. Дверь с шумом открылась, и вошел посетитель. Узбек. Повидимому, студент, юноша лет восемнадцати. Он был чем-то очень озабочен. Сел за столик и властно сказал: — Пожалуйста, бутылку фруктовой воды и бутерброд с колбасой.

Официант посмотрел на него и собирался сказать, что столовая закрывается, но все же встал и принес требуемое. Затем опять уселся за свободный столик и от нечего делать стал разглядывать юношу.

Юноша был явно расстроен. Он механически, не глядя на бутылку и стакан, налил себе воду, жадно выпил, резко отодвинул бутерброд, раскрыл книжку, повидимому учебник, просмотрел несколько страниц, нервно их перелистывал, а в двух местах подчеркнул карандашом.

Официант, давно живущий в Ташкенте, внимательно смотрел на молодого узбека. Какие гордые, хозяйские движения у этого паренька! Ведь совсем недавно они были робкие, тихие — узбеки, — а теперь — даже жесты стали другие. Вот он, этот мальчик, чувствует себя хозяином. В полудремоте, закрывая и открывая глаза, старик продолжал с некоторым любопытством следить за юношей.

Тот опять небрежным движением налил себе воды, опять жадно выпил и словно забыл о бутерброде,



который вместе с тарелкой был отодвинут на край столика. Опять жадно выпив воду, он продолжал перелистывать книгу, досадливо морща лоб и еще что-то подчеркивая карандашом или в раздумьи бросая карандаш на скатерть.

«Что-то не ладится у него по учебной части», — подумал официант и закрыл веки.

Минут через пять, когда он опять поднял их, юноша уже не перелистывал книгу, а писал что-то на почтовом листке бумаги и держал наготове конверт. Он писал тоже возбужденно, но это уже было другое возбуждение — не то, которое было несколько минут назад, когда он перелистывал книгу и делал в ней пометки.

Юноша по-иному задумывался и, совершенно по-иному, подпирая подбородок карандашом, смотрел на потолок, раза два улыбнулся мечтательно, но и мужественно. «Любовное письмо», — подумал официант, наблюдательный, как все официанты. Он мучительно хотел опять вздремнуть, но любопытство брало верх: он смотрел опять на парнишку, следя за его переживаниями. Старик не ошибся: юноша писал любовные письма. Написав, он быстро вложил его в конверт, заклеил, надписал адрес, рассеянно посмотрел на стол, откусил кусочек бутерброда и барственно бросил его обратно на тарелку.

«Да, другие стали они, — подумал старик, — совсем другие. Гордый, свободный стал народ... Живут полной жизнью».

Юноша позвал официанта, уплатил и, занятый своими мыслями, в самом деле полно живущий своей жизнью, ушел.

Старый официант потянулся, зевнул, закрыл за ним дверь и еще раз подумал и даже сказал сам себе вслух:

— Новые люди. Не то, что раньше.

---

До Февральской революции служил матросом во флотском экипаже. Это была одна из лучших революционных частей флота. Давно готовились к выступлению. Несогласных не было. Часто совещались, читали газеты. Ждали сигнала. И когда прибежал запыхавшийся товарищ и сказал: «Выступить», — то на минуту задумались: «Кто поведет?» И кто-то сказал:

— Дневальный.

И дневальный скомандовал:

— Строиться!

И все построились. Дневальный был молодой матрос. Он никогда никем не командовал и был взбудоражен необычайной ролью. Но скомандовал спокойно и четко:

— Ряды сдвой! На первый, второй рассчитайся!

И после паузы совершенно спокойно, ровно и убежденно:

— Шагом марш, товарищи!

И, повернувшись, пошел вперед. Он вдруг понял в этот момент, какое это счастье быть равным среди равных. Счастье солидарности взмывало его, и он шел по пустынным улицам революционного Петрограда легко и бездумно, как на праздник.

Прошло много лет. На разных ответственных постах работал молодой матрос. Много пришлось пережить тяжелого. Но он остался тем же, чем стал в первые дни революции. Он работает сейчас на заводе. Вырос

на работе, он сменный мастер, но чувствует себя в цехе равным среди равных и, как когда-то, он выходит из цеха вместе с товарищами и—часто—счастье солидарности взмывает его... Его любит и ценит коллектив, и кто его знает давно, тот до сих пор представляет его не иначе, как в матросской форме...

---

Старого узбека-пастуха избрали в президиум большого торжественного собрания в столице, в Ташкенте—собрания, в котором принимали участие члены правительства.

Он был примерный пастух, лучший ударник. Его делегировали сюда на съезд, и он приехал поездом. В час избрания в президиум он сидел в задних рядах зала, и когда избранных просили пройти на сцену, он пошел вместе с другими.

Он шел спокойно и величаво, как всегда. Шел по узкой тропе между креслами. На него смотрели со всех сторон с удивлением, с улыбками, с восторгом: пастух! Простой пастух! Больше сорока лет пастух!

Старое лицо в глубоких морщинах, седая борода, библейская, древняя и глаза зоркие, совершенно спокойные. Хотелось бы сказать: мудрые. Но мудрость проявляется не всегда в глазах. Она бывает и в осанке, и в плечах, и в походке, и в жестах.

Но что было в нем главным? Ведь таких событий не было в его жизни.

Он в первый раз был послан на съезд и в первый раз в жизни избирался в такое блестящее, высокое, руководящее жизнью всей страны общество.

Что же было в нем главным в этот никогда не-



изведанный, захватывающий, потрясающий и неповторимый момент?

Он волновался? Плакал от умиления? Был подавлен неслыханным почетом? Нет.

Было совершенно очевидно, что он несколько не волнуется и не растроган, и не подавлен, и не возвеличен. Было совершенно ясно, что высший почет он принял как должное. Точно это давно ему причиталось.

Он спокойно сел за стол президиума и спокойно и гордо прикоснулся к спинке кресла.

Он чувствовал себя хозяином — и в этом зале, и в поле, когда стерег стада. Он знал людей, он знал животных. Высокое небо, широкие просторы и вольная мысль давно убедили его в том, что хозяином страны может быть только тот, кто трудится. За это сознание — необычайно крепкое в нем и ясное — его и выбрали на съезд.

И после съезда, как и до него, оно — это сознание — передавалось другим пастухам и крестьянам, жителям долин и гор, шедшим и ездившим по крутым тропинкам, пескам и глинам широкой, большой и родной страны.

---

Был всегда исполнительным, настойчивым и инициативным комсомольцем. Когда ему говорили: «нельзя», «трудно», «не выйдет», он насупливался, думал и очень мягко спрашивал, превращая вопрос в утверждение:

— А почему...

И, подумав, добавлял — спокойно и твердо:

— Нет, почему же? Можно.

И с удивительной простотой осуществлял то, что другим казалось очень сложным, трудным и неосуществимым. Сейчас ему двадцать три года. Его считают хорошим работником и назначили начальником большого вокзала. Он пришел, чуть сутулый, веселый и серьезный, как всегда, обошел помещения вокзала, не вызвал к себе, а сам пришел к завхозу и спросил, сколько человек моет в вокзальных помещениях пол и лестницы? Ему сказали: двадцать человек. Он подумал и предложил: нанять сегодня же восемьдесят и три раза подряд вымыть все полы, все лестницы, все окна, двери и стены—там, где они покрыты масляной краской. Завхоз пробовал что-то сказать, возразить: смены, бабы, пассажиры, поезда, в ближайшие дни все равно наследят, плохая погода, вот подождать, будет сухо... Затем вызвал коменданта, и комендант тоже что-то говорил о метлах, швабрах, которые заказаны. Новый начальник вокзала подумал и сказал:

— Сегодня начать мойку.

Потом подошел к кассам, посмотрел на толчею перед двумя окошками, на длиннейшую очередь и тоже не вызвал к себе главного кассира, а пошел к нему и спросил: почему не сидят кассирши в шести остальных, наглухо заколоченных окошках? Кассир сказал, что нет людей, штатные единицы, РКИ, сокращение расходов, нагрузки, смены, экономия. И вопросительно двигал бровями и ушами. Новый начальник выслушал, подумал и сказал:

— Сегодня же посадить во все окошки кассиров. Чтобы не было очередей. Никогда. Ни при каких условиях.

Кассир вызвал администратора, счетовода, и все заговорили: невозможно, контроль, штаты, РКИ, штат-

ные единицы, не во все дни работа. Начальник вокзала подумал и сказал мягко:

— Сегодня же это сделать.

Потом пошел в вестибюль у главного входа. Там стояла женщина с обвязанной теплым платком головой и резко возвращала пассажиров: «Кругом! Кругом! Не слышите, что ли? Вам говорят: «кругом!» Начальник подошел к ней и спросил, кто ей поручил не пускать пассажиров. Она ответила: комендант. Он пошел опять к коменданту и сказал: пускать пассажиров через главный зал, а не кругом.

В следующие дни новый начальник совершенно просто и четко, точно так же, как делал все распоряжения, заказал много новой мебели, удобные скамейки — удобные и изящные — по рисункам художников, ремонтировал много помещений, сам следил, как перестраивали и делали образцовые уборные, оборудовал комнаты отдыха, читальню, комнату матери и ребенка. Тем же мягким голосом и так же всякий раз делая паузу, чтобы подумать, он снял с работы шесть человек, которые не выполняли его распоряжений, двоих отдал под суд за растраты и превышение власти, несколькими сделал выговора и предупреждения. Производственные совещания длились у него по 15—20 минут, не дольше. В полтора месяца вокзал стал неузнаваем. И когда через два с половиной месяца после поступления его на эту работу он прочитал в комсомольской газете заметку о своей хорошей работе и увидел свой снимок, он полуудивился, испытал острую и колющую радость и — сейчас же — смущение, сказал сам себе: «Вот тебе и на» — и спрятал газету в стол, чтобы она не бросалась в глаза товарищам по работе.



Работает по осушке болот на Колхидстрое. Доставляет горючее для экскаваторов, роющих каналы. Экскаваторы черпают столетнюю гниль, неподвижные царства из мутных корней, комариных личинок, всецветных и печальных болотных снов. Образуется широкий прямой канал, куда стекается невысыхающая накипь, мутные стоки, вечная сырость, малярийная лихорадка. Экскаваторы с грохотом и лязгом подвигаются все дальше и дальше. Им нужно доставлять горючее. Как? Лодка не может пройти. Лошадь не может пройти. Самолету негде снизиться. Колесу не на что опереться. Осел скользит и падает на размытых торфяных и топких тропинках.

Только человек может кое-как пробраться. И он идет, нагруженный баком с горючим. Как он ходит по этим тропинкам? Иногда он мостит себе путь ветками. Иногда везет горючее на санях — по грязи. Часто погружается в топь в своих резиновых сапогах и спецовке, но как-то находит в воде твердую опору. Безошибочно обходит глубокие места, откуда можно не выбраться. Но он благополучен. Ничего нет подчеркнуто упорного ни в его затылке, ни в подбородке, ни в плечах. Черные глаза смотрят спокойно и немного удивленно. Ничто как-будто сразу не говорит о редкой настойчивости и стальной воле. С горючим он не опаздывает. Не опаздывает. За год работы еще ни разу из-за него не останавливался экскаватор. Он ударник. У него есть нормы. Как можно устанавливать нормы прохождения по новым путям, по действительно неизвестным тропам — часто непонятно. Но они существуют — нормы.

На собрании инженер говорит, что по тем опасным, топким, скользким, грязным, мучительным дорожкам, по которым он должен проходить, через год будет по мягкому шоссе скользить автомашина, а по краям дороги будут стоять пальмы. Он знает, что это будет так, с видимым удовольствием слушает и удивленно улыбается.

---

Стройка новая, и в ней пока только кроме территории с частью законченных цехов одна улица рабочего поселка. Вдоль улицы еще лежит строительный мусор, а в конце улицы свалка и за свалкой — цирк из холста и деревянное кино. Населения в поселке больше трех тысяч. Строится вторая улица, строится хорошее кино — каменное. Строится большой клуб. Строятся новые цехи. Проведена железнодорожная ветка. Далеко от площади с трибуной, на том месте, где строится клуб, посажены деревья — зачатки будущего парка, и там гуляет молодежь — уже много знакомств, связей, дружб, ссор, всевозможных отношений. И всюду можно встретить жизнерадостного парнишку Емельчука — он старожил стройки. Он здесь самый старейший. Он приехал с первой партией. Он живет тут два года. Вот здесь, где улица, еще недавно ничего не было. Тут была степь, и где стоит завод — тоже была степь. Он улыбается — очень довольный, указывает на проходящих мимо иностранцев и каких-то людей:

— Никого тут не было. Теперь все приезжают.

— А вот внизу, у реки, тоже ничего не было, а теперь плотина, стадион, все вновь построено.

Он доволен, хотя по-хозяйски ругается то по одному

поводу, то по другому. Это надо пристроить, то застроить, здесь расширить и т. д.

— Ну что, хорошо тебе здесь? Никуда отсюда не тянет? В Москву не тянет?

— Нет. Мне здесь хорошо. Все тут знакомо, все при мне выросло и растет. Тут мне почет и уважение, тут все меня знают. Нет, не поеду я отсюда никуда.

Ему двадцать лет, но он уже знает, с каким трудом приобретается «почет и уважение». Это завоевано им здесь тяжким трудом, и он никуда отсюда не уедет.

---

Поезд подходил к перрону. На перроне стояли трое с портфелями и водили глазами по окнам. Но тот, которого они встречали, был уже не в окне, а на нижней ступеньке вагона. Одна нога свисала со ступеньки. Он был возбужден. Это был начальник стройки. Трое встречавших—подчиненные и уполномоченные. Начальник увидел их довольно давно. Задолго до того, как поезд окончательно остановился, он соскочил, подошел и, кратко поздоровавшись, сейчас же положил на бочку, стоявшую на перроне, свой портфель, открыл, вынул бумаги и, ударяя по ним пальцами, взволнованно сказал:

— Где цемент? Где чугун? Вот одна телеграмма и другая. И что вы посылаете инженерам приказы?! Что это такое?! Что вы всерьез думаете управлять приказами?! Что с вами стало?! Такими приказами?! От таких приказов, вы думаете, родятся материалы?!

— Товарищ Васин,—заговорили все трое,—мы телеграфировали Цивильскому, Цивильский ответил. Вот



телеграммы от пятого числа и вот от седьмого (все трое раскрыли портфели и стали тыкать пальцами в вынутые телеграммы). Специально поехал Коробов, Дьячков тоже сообщил... Линадский и Кузько вам же писали... Вы же знаете.

Начальник, еще более возбужденный, чем когда он стоял на ступеньке вагона, но не давая развиваться чувству раздражения, а стараясь быть сдержанным и корректным, махнул рукой и сказал:

— Что мне Цивильский? Коробов? Кузько и Перекузько?! Знать я не желаю никаких Кузько и Линадских! У меня есть этот приказ!.. Вот он! Это высший бюрократизм. Это неслыханный документ! С такими приказами вы собираетесь работать! Что это такое?! Откуда вы взяли?..

— Товарищ Васин, товарищ Васин...

Все четверо оставили бочку, бурно пошли влево, разговаривая и размахивая руками. Механически, не видя, куда идут, зашли в дверь начальника станции. Вышли оттуда один за другим, потом, так же разговаривая и так же механически, не видя, куда идут, — вошли в кабинет станционной охраны. Вышли оттуда, так же разговаривая и так же один за другим — механически вошли в багажное отделение. Тоже вышли. Наконец, попали в зал для пассажиров... Там они, продолжая разбираться в бумагах, телеграммах, волнуясь и споря, сели за столик. Столик покрылся бумагами. Подошел официант. Они не видели его, не обращали на него внимания. Официант постоял и отошел.

Беседовали больше часа. Лица их были напряжены до крайности.

Важный ли они решали вопрос? Была ли это суэта? Излишняя горячность? Склока? Начальническое раздражение?

Нет. Это могло быть и тем, и другим, и третьим. Но это было страстью. Это было твердым желанием не допустить прорыва на стройке.

С вокзала начальник стройки поехал в город, встретил других товарищей, тут же разобрался в задержке — и через два дня с этого же вокзала отправлялся поезд с нужными материалами.

---

Никогда не забыть этого знакомства на высоте тысячи метров. Он летел в числе делегации на съезд. Делегация везла радостное сообщение об окончании большой и трудной стройки. Навстречу делегации вылетело несколько самолетов — одноместных открытых бомбовозов. Они сопровождали самолет с делегатами, реяли над ним, под ним и около. Показывали лучшие образцы летного искусства, почти касались крылом крыла, что особенно трудно, делали виражи, мертвые петли.

Он сидел у окошка. Около него молодой летчик, все время сохраняя улыбку, качался в своем самолете, как в люльке, перекидывался через крыло, шалил, резвился, купался в вольной синеве, — все время сохраняя улыбку на добродушном молодом лице, обрамленном шлемом.

Делегат горячо приветствовал летчика. Он был взволнован. Он никогда не видел на таком близком расстоянии работы летчика. Он любовался им. Он беседовал с ним — говорить было невозможно — но эта немая беседа на горячем солнечном ветре была глубоко

содержательна. Он чувствовал, что летчик отвечает ему. Они говорили о самом высоком и лучшем, о чем могут говорить друг с другом советские люди. Улыбка летчика казалась ему родной. Этого знакомства он не может забыть и причисляет его к самым ярким событиям своей жизни.

---

Был в 1905 году анархистом. Сидел в тюрьмах. Много бедствовал, мытарствовал, но стойко боролся с царизмом. В семнадцатом году вступил в коммунистическую партию и с kloкочущей своей энергией принялся за организованную революционную работу. Был на фронтах, потом работал по восстановлению хозяйства и всюду вносил горячность, добросовестность, страсть.

Сейчас в маленьком городке работает в секции совета по благоустройству города и специализировался на тротуарах.

Надоел всем. Перессорился со многими, но добился невероятных результатов: проложил уже почти во всем городке прекрасные ровные асфальтовые тротуары, а на многих улицах и—мостовые. Ездил в область, добивался материалов, ссорился, телеграфировал, переписывался, таскал бюрократов по товарищеским судам и контрольным комиссиям, но добился: городок поражал ровными новыми тротуарами.

Много энергии уходит у него на сохранение тротуаров. Он объезжает на велосипеде каждый день в разные часы улицы. Если на тротуар наезжала телега, если дворники не подметают их, если бросают откуда-нибудь на тротуары тяжелую кладь,—он арестовывает, возбуждает процессы. Ярость его беспредельна.



Теперь, по московскому образцу, он освещает улицы и площади прожекторами с вышек домов.

Самые острые периоды борьбы уже прошли. Он признан. Его уважают и любят. Ему уже легче доставать материалы, деньги, людей. Но деятельность его не ослабевает. Он так же мчится на своем велосипеде, так же обходит город пешком, стоит и долго думает на улицах и площадях — один или с товарищами, — а ночью так же долго не гаснет свет в его окне: он работает, составляет планы и сметы...

---

Среди многочисленных туристов на празднество приехал финн, окончательно молчаливый человек. Его обслуживали, как и всех, очень внимательно. Возили, кормили, показывали достопримечательности, приветствовали. Он очень редко задавал вопросы переводчикам, внимательно смотрел, ходил. Приехал он из маленького городка в Финляндии, где жил постоянно. Он никогда не был в крупных городах. Москва поразила его, оглушила своими масштабами, мощью строительства, невиданными заводами, шумными улицами, обилием людей. В некоторые моменты он приоткрывал рот и смотрел, как деревенский юноша. Бывали дни, когда от обилия впечатлений он сильно уставал, и на следующий день для него сокращали программу экскурсий.

Его спокойствия никто не нарушал. Ему не задавали вопросов, на его редкие и скупые вопросы отвечали тоже кратко. Он был вежлив, корректен, по-своему любознателен. Иногда выходил из гостиницы один, останавливался около больших домов, готовых и строя-

щихся, наблюдал густое автомобильное движение и опять, как деревенский юноша, открывал рот и клал руки на поясицу. Наконец, когда срок пребывания его в СССР закончился и он вошел в числе прочих уезжающих в вагон, он вдруг подозвал к себе одного из работников Интуриста, поблагодарил за гостеприимство, затем сделал неловкую паузу и с ехиднейшей и злой гримасой сообщил как непреложную новость. Чувствовалось, что это гложет его давно, но он боялся высказать это, а теперь, уезжая, наконец, решился:

— Все это у вас хорошо, слов нет, но все-таки вы должны понимать, что, например, я—человек высшей расы, а вы—представители низшей. Наша нация принадлежит к высшей расе, понимаете, к высшей, а вам этого никогда не достигнуть. Поняли?

Работник, обслуживающий иностранцев, должен быть особенно вежлив и выдержан. Смеяться над глупостью гостя никак нельзя. Но в данном случае работник не выдержал: он, глядя на представителя «высшей расы», неудержимо смеялся все время, пока не ушел поезд.

Впрочем, моментами он прекращал смех, потому что белое лицо гостя было жалко.

---

Он говорил отрывисто, с неприятной точностью, которая явно скрывала тайное ликование:

— Наука теперь далеко пошла. Все становится ясным. Думаете, земля круглая? Ничего подобного. Земля—грушевидная, и огромная трещина обнаружена в ней.

— Где?

— На дне Тихого океана. Глубокая трещина.

Пауза. Продолжает, наслаждаясь:

— Так она и вертится, земля—грушей и с трещиной.

Пауза. Продолжает:

— А похолодание увеличивается. Ледниковые периоды были и будут. Знаете, сколько нужно, чтобы Европа покрылась льдом? Средняя температура пять градусов ниже нуля. Только и всего.

Пауза:

— Лед и так продвигается с севера на юг. Похолодание явное. Это общеизвестно.

Пауза. Ликующе продолжает:

— А бежать некуда. На других планетах живых существ нет. Взор. Может быть только на Венере кто-нибудь есть, да и то неизвестно. Там теперь парниковый период, тепла сорок градусов, никак не меньше. Осадки, туманы, болота. Ну, конечно, богатейшая растительность. Бродят какие-нибудь ихтиозавры.

Пауза:

— Забраться туда немислимо. вряд ли... Культура? Чепуха культура. Культура была. На египетских пирамидах, на самом верху лежат камни, цельные, вагона в два величинны. Как их туда втащили? Известна ли нам их техника? Неизвестна.

Пауза:

— Я уверен, что электричество там было.

Пауза:

— А башня в Пизе? Американцы вот раздобыли чертежи, построили точно такую же падающую башню, она и упала. Почему? Чертежи, да не совсем те. Была техника лучше нашей. Это ясно. Все было.



А мы воображаем, воображаем... Мы, жители планеты «Земля».

Он не делает выводов. Но какие-то выводы идут от его тона, от пристрастного подбора фактов, долженствующих доказать призрачность земных дел. Ему присуща мрачная выразительность. Ему нужно доказать тщетность, ненужность земных дел и благ.

И все же слова его не убеждают. Это становится ясным через десять минут беседы с ним. Слушатель думает по-своему: «Нет, велика природа, прекрасен мир и надо изучить его, надо бороться за улучшение жизни на земле».

А на «научного» пессимиста — старого, с небритой седой щетинкой, несомненно, обиженного на этой самой планете «Земля» — поглядывает с жалостью... Старик не отказался бы от многих благ, которые существуют на планете «Земля» и — особенно — на шестой части этой планеты. Но это трудно. Он был врагом революции, затем покался. Но все-таки доверяют больше другим. Отсюда и шли все ледники...

---

Необыкновенная должность: официант на самолете! Когда ему предложили эту работу, он улыбнулся и приподнял плечи. «А как же это... Смогу ли я? Ведь качает». — «Полети, попробуй!» Полетел. Большой самолет, много мест. Качает мало. Согласился. И вот он в клетушке, в самом конце фюзеляжа приготовляет бутерброды, открывает бутылки нарзана и ситро, очищает апельсины, вскрывает коробки конфет и печенья. С огромным удовольствием и волнением, никогда не испытываемым на земле, он каждые полчаса пред-

лагает пассажирам что-либо из своих закусок, сластей и напитков. Он появляется незаметно, в проходе между креслами, с улыбкой, которая освещает его лицо, и говорит: «Пожалуйста»,—хотя не всегда его слышно из-за шума моторов. Ему особенно нравится, что на лицах пассажиров появляется приятное удивление. Большинство охотно ест и пьет. Через полчаса он опять выходил из клетушки с переполненным подносом и опять произносил свое «пожалуйста». Все приятно ему в этой работе — и обстановка, и новизна дела, и напряжение, которое все же чувствуется в ногах, и бессловесная, а часто и многословная благодарность пассажиров, с жадностью бросающихся особенно к лимону, апельсину и к напиткам.

Несколько раз его снимал фотограф за работой: он стоит с подносом, в окно видно облако, и так как фотограф, снимая, стоял на возвышении, то видна еще и земля в квадратах и прямоугольниках посевов. Хороший снимок! Все вышло на нем: и апельсин, и жадное лицо пассажира, и облако, и он сам — воздушный официант, представитель редкой профессии — новой и необыкновенной! Всю жизнь он будет хранить этот снимок!

---

Слушал людей внимательно, чаще всего с недоверчивой улыбкой. Если говорили ему: «Нельзя», если к этому сводилась суть речей и обстоятельств,—хмурил лоб, но обязательно при этом насмешливо улыбался и сам себе говорил, а иногда и вслух говорил:

— Можно.

Во время Февральской революции он, литейный ра-

бочий Ленинграда, обращался с речами к целым отрядам казаков, отношение которых к революции еще не было известно. Затем, будучи красногвардейцем, он брал себе такие поручения, которые очень трудно было выполнить. Но он выполнял их—весело, со своей мужественной, насмешливой улыбкой. На фронте однажды—один—взял в плен восемь человек. После окончания гражданской войны опять вернулся в литейный цех. Изменился, постарел, стал молчаливее, сдержаннее, но насмешливая улыбка не сходила с его мужественных губ, и выдающаяся в темени упрямая голова сидела гордо и крепко. Попрехнему не отказывался от трудного и опасного.—Можно?—спрашивал он сам себя о трудных, порой невозможных вещах. И отвечает сам себе: «Можно». Поехал работать на доменных печах. Преодолеl тут всякие трудности, а однажды задумался и над тем—можно ли в расплавленный чугун погружать палец? Ответил: «Можно»...

Чугун льется пламенной струей. Он стоит сбоку и часто забавляется, даже не заботясь потом, чтобы кто-нибудь видел это редкое зрелище. Смазав палец жиром, спокойно и быстро погружает его в огненную жидкость и вынимает. Такая забава существует у литейщиков. Не один палец в одно мгновение сжигался таким образом. Тут нужно как-то особенно ставить палец. Малейший наклон—и пальца нет. Его предупреждают не делать этого. Но он делает. Палец вставлен, вынут... Палец цел, и на губах его—губах пожилого человека—блуждает молодая насмешливая улыбка...

---



Инструктор по физкультуре. Бегун, лыжник, альпинист. Среднесложенный, без подчеркнутой мускулатуры, без «прямого» затылка и других профессиональных признаков. «Старый» комсомолец. Был видным работником спортивных организаций, но постепенно вытиснули: не искушен в тонкостях ведомственных отношений. Аккуратен, точен, сдержан, ровен. Охотнее всего руководит кружками. Удивительно умеет дисциплинировать занимающихся, причем без всяких увещеваний и окриков. Люди бегают по его команде, гнутся, делают гимнастику, ходят по праздничным дням на лыжах по двадцать километров, чуть ли не падают от усталости, обливаются после этого холодной ледяной водой и стонут от счастья. Он никогда не шутит, но не бывает и мрачным. Сдержанно улыбается, слушая шутки других. Не выносит пошлости, рисовки, ухарства, молодечества. Когда к нему подбегает красавица-девушка спортсменка в щеголеватых трусиках и, подбоченясь, кокетливо о чем-то спрашивает, он морщится и говорит (даже если жара):

— Лиза, не мерзни.

Знает высшую радость спорта — музыку движения, ритм правильной работы сердца, радость полновесных толчков крови. Цепочка лыжников в 10—12 человек, идущая во главе с ним лесами и полями в яркий морозный день, переживает высшую радость. Десятки и сотни людей незаметно получают от него входящие в плоть и в кровь уроки выдержки, бодрости, веры в жизнь.

Перед бегом он серьезно предупреждает своих учеников:

— Не сдавать на поворотах!

И это техническое указание — помнить про повороты, на которых труднее сохранить темп бега, — в его устах приобретает особый смысл. Этим потом руководятся в жизни, в работе, в серьезных затруднениях.

---

Наружность приятная: светлые открытые глаза, хорошо моющаяся светлая кожа, звонкий голос. На этой свежей коже и звонком голосе и основано все его существование. К нему хорошо относятся. Так, неизвестно почему. Носит русскую рубашку, весело расшитую. Явно плохо и мало работает. Никаких заслуг не было и нет, но относятся к нему все-таки хорошо. Все эти светлые открытые глаза.

То тут, то там мелькает его рубашка, его неопределенное, вымытое лицо. Иногда кажется, что он страшно глуп, но забывают об этом мгновенно, как забывают о нем самом. Как-то не думается о нем.

Шли годы. Его назначали на посты, снимали. Снимали без скандалов, назначали без торжеств. Он куда-то ездил, что-то возглавлял и всюду очень мало работал.

Сейчас он в Москве. Сидит, смотрит. Приходит на службу все в той же рубашке с расшитым воротником, вымытый, причесанный. Сидит, задает незначащие вопросы, курит, уезжает. Нельзя сказать, что его нет, но нельзя сказать, что он есть. Трудно сказать, что он делает, но нельзя сказать, что отсутствует. Где он?

— Не знаете, где Василий Иванович?

— Не знаю. Не видел. Посмотрите, пожалуйста, в

этой комнате. Нет? Ну, значит, не пришел или, кажется в отъезде. Ах нет, он здесь, простите. Он вышел.

Идут годы. Была жена, теперь, кажется, другая. Тоже как-то неясно, неизвестно. Главное, не хочется знать. С годами отяжелел, расширился в плечах. Иногда брюзжит. Иногда упрямствуется. Вдруг рассердится на кого-нибудь, и тут видно, что взгляд его уже не открытый, не светлый.

В последнее время часто болеет. Теперь он часто едет в отпуск. По необходимости. Сейчас уже это главное—отпуск,—а что было главным раньше—неизвестно. Особое умение—незаметно жить, не обращать на себя внимание и не бросаться в глаза.

---

Волнение в городе. Стрельба. Толпы. Вдруг бегут. Все бегут! Он был в толпе человек в пятьсот. Толпа была прижата к дому. По мостовой неслись на грузовиках какие-то люди с винтовками. Внезапно один грузовик остановился, и озверевшие бандиты стали стрелять в упор в толпу. Пятьсот человек ринулись к двери магазина. Посыпалось со звоном стекло. Смертельная давка. Отчаянные крики. Кровь. Раненые. Он тоже хотел проникнуть в магазин, но кто-то сшиб с ног. Неизвестно, как это получилось—он оказался под ногами у обезумевших людей. Его топтал лес ног. Ему наступали на голову, на лицо, на грудь, на все тело. Он завыл, предчувствуя гибель. Он впился зубами в чью-то икру, разорвал ее до крови. Его остервенело били, но он продолжал впиваться в живое мясо. Окровавленными, полураздавленными пальцами он царапал навалившиеся на него тела. Он



хрипел. Он пугал снизу отчаянным криком и, наконец, после невероятных усилий, окровавленный и полураздавленный, все же встал и втиснулся в сумасшедший поток, врывавшийся в магазин сквозь обломки сломанной двери. И среди стонов и проклятий раненых он оглашал магазин диким торжествующим криком:

— Встал! Встал! Встал! Встал! Встал!

Хромая, он подходил то к одному, то к другому окровавленному—все не могли отдышаться—многие сидели на корточках или ложились на пол, опасаясь новых пуль, и всем он кричал, полусумасшедший от радости:

— Встал! Встал!

Прошло много лет. Сейчас он бодрый, оптимистический, живой советский работник. Его уважают, любят за улыбатость, жизнерадостность. И неизменно, когда у него бывают затруднения или серьезные неудачи, он вспоминает о неслыханных муках, о том, как его давили, и сам себе говорит с глубоким убеждением:

— Встану. Встану.

И действительно, препятствия преодолеваются легче.

---

На сороковом году жизни он вдруг задумался и спросил сам себя вслух:

— Для чего мне нужно проявлять инициативу? Какого чорта!

Вдруг стало ясно, что чем меньше он будет предлагать разные идеи, создавать комиссии, бороться с противниками, втягивать в работу равнодушных и т. д.,—вообще, чем меньше он будет работать, тем меньше будет неприятностей. Как-то сразу ясно стало, что станет значительно спокойнее и легче жить, если

он перестанет проявлять особую активность. Ничего, кроме неприятностей, это не дает,—решил он. Упреки, разоблачения, обвинения, ненависть, интриги, склоки, страх, что проекты не осуществляются, и так далее. Какого чорта! Как он этого не понимал раньше? Ведь гораздо проще сохранять спокойный и независимый вид, снисходительно поддерживать или легонько критиковать, уходить домой из учреждения в пять часов и спокойно жить—без звонков, без опасений, без страха, без тягостного чувства непрерывной ответственности. Сколько людей живет так—спокойно, ясно, работая в меру!

Он умылся, побрился, надел новый костюм, пришел на службу и сел читать газету. К нему подходили, спрашивали. С важным видом он отвечал:

— Надо подождать, товарищи. С этим надо подождать.

— Повременить надо немного, товарищ.

— Пожалуй рановато, дорогой товарищ.

И товарищи, понимающе кивая головами, уходили, и он чувствовал, совершенно отчетливо чувствовал, что к нему более доверчивые начали лучше относиться, даже начали поговаривать об его энергии, уме, способностях...

— Да, пожалуй, с этим вопросом надо подождать,—говорил он, глубокомысленно хмурия брови.—Это надо обдумать. Это не так просто...

Получалось веско. Выходило, что он уже думал об этом. Ему не возражали. Началась легкая жизнь, совершенно бестревожная. Что бы ему ни предлагали, он отвечал:

— Рано, рано, товарищи.

— Надо подумать.

— Да, это интересно, но надо подождать немного, товарищ. Так сразу нельзя.

Некоторые начали считать его умным человеком. Но это был не ум. Это была очень серьезная степень падения.

---

По глубокой пыли на ишаке он въезжает в город. Ноги его уныло свисают, почти касаясь земли. Терпеливое и чудесное животное несет это длинное вялое тело. В руках он держит курицу. Он почти не предлагает ее продать. Это само собой разумеется. Это должно из чего-то явствовать. Он смотрит неподвижно вперед себя.

По городу, в который он въехал, мчатся машины. В 1930 году их почти не было. В 1934 году в минуту их пробегает не меньше 5—6.

Бегут легковые, несутся грузовики.

Его ишак привык к гремящим чудовищам или он их никогда не пугался. Он идет на них, с трудом сторонясь, чтобы уступить им дорогу.

Его хозяин продолжает держать курицу. Это длится долго. Его останавливают, спрашивают, сколько стоит курица. Он назначает цену и не уступает. Все же курица продана. Он получает деньги и продолжает свой путь в чайхану.

У чайханы ишак привязывается к столбу, и хозяин ложится на нары, неподвижно лежит, сидит и полусидит и долгими часами смотрит на синеву, на пыль, на прохожих, на проезжающих и думает.

О чем? О чем-то, вероятно, по-своему сладостном, по-своему занимательном. Или он скучает.



Почти все его товарищи, сородичи очнулись и за-  
двигались. Очнулись от сонной, старой азиатской жизни.

Но он еще не может. Что-то мешает, что-то держит  
в оцепенении, что-то приковывает к спине ишака и  
к доскам чайханы. Что-то еще не входит в сознание,  
не доходит, не может прошибить этой сладкой, ти-  
хой, ленивой, созерцательной неподвижности.

Он уменьшается в своем числе с каждым годом,  
этот тип, с каждым полугодием, с каждым месяцем,  
но все же он еще существует и еще достаточно ти-  
пичен.

---

Массовичка. Инструктор по организации массовых  
игр. Деятнадцать лет, но выглядит моложе. Мала.  
Худа. Вынуждена носить широкие платья, чтобы ка-  
заться хоть сколько-нибудь заметнее. Голос звонкий.  
Но этим голосом она пользуется только во время ра-  
боты, обычно же говорит тихо. Натура лирическая  
и томящаяся. Лирически обидчива: вдруг отказывается  
пойти куда-то с товарищами, подругами, остается одна  
на лугу (она работает в комсомольском лагере), задум-  
чиво щиплет травку, сидя и опираясь на локоть. Вдруг  
воспылает нежностью к кому-нибудь и провожает его,  
берет об руку, дарит ему цветы. В личном, товарище-  
ском кругу влияния почти не имеет. Ее предложения  
не убеждают, вниманием особенным не пользуется.  
Привыкла страдать от ревности.

Но лишь только она на работе собирает круг людей  
(в лагере или в парке культуры на гуляньи)—самых  
разнообразных—и взрослых и подростков—она начи-  
нает бодро расхаживать и звонко командовать:

— Шире круг! Взяться за руки! Первое движение...

И люди ей подчиняются—кто бы они ни были. Иногда бывает странно, что двадцати- и двадцативосьмилетние верзилы покорно повторяют ее движения, бегают, прыгают, и в виде штрафа за провинности тащат друг друга к ней на суд, и она называет «наказание»: пропеть что-нибудь или ответить на вопрос по политграмоте, или рассказать что-нибудь, или декламировать.

Она стоит, маленькая, худенькая — в центре круга, — заложив тонкие руки за узкую спину, широко расставив худые ножки, и командует. Она твердо знает, что эти десятки тел в ее распоряжении, они будут и прыгать, и бегать, и танцевать, и нагибаться — будут — все будут делать, что она предложит. Затевая игру, она часто даже не смотрит на лица. Хлопает в ладоши, собирает вокруг себя толпу и командует:

— Шире круг! Внимание! Повторять движения за мною!

И движения повторяют...

---

Об этом ей совершенно просто, неожиданно, между прочим, как об очень обыкновенной вещи сказала подруга, комсомолка. Долгое время ей запрещен был вход в дом, но в последнее время как-то так вышло, что она приходит и на нее не обращают внимания. Привыкли к тому, что она ходит без паранджи, с двумя открытыми косами, носит на улице тюбетейку и резиновый плащ. Но по улице, если подругам случалось идти вместе, то другая шла в серой своей парандже, закрытая по всем правилам. Попробовала бы она

открыть или хотя бы немного приподнять густой хобот из конского волоса, закрывавший лицо!

И вдруг комсомолка предложила ей так просто, как будто речь шла о самом обыкновенном:

— До каких пор ты будешь такой душой? До каких пор будешь так бояться отца и старшего брата? Погуляй хотя бы раз по улице без паранджи. Все тебе покажется иным! Смешно об этом говорить, право.

— Но мне неловко. Я уж думала попробовать где-нибудь подальше, на новой улице, где меня не увидят знакомые... Мне очень хочется попробовать.

— Так чего ж думать! Приходи сегодня ко мне. У меня оставишь паранджу и погуляем с тобой...

...И в Ташкенте, на широкой улице имени Шевченко, мимо университета прошли две девушки-узбечки... Одна из них, с двумя косами, в тюбетейке, шла уверенно, твердо и широко шагая, не глядя по сторонам. Другая держала ее об руку, раздумываясь, все время смеющаяся, радостная, и немного смущенная—шла чуть неуверенно, как после болезни, и не могла успокоиться. Она отрывисто смеялась, произносила не слова, а восклицания, как человек, не привыкший к воде, сразу окунувшийся в море,—она дышала возбужденно и радостно, а подруга, снисходительно улыбаясь, говорила:

— Ну, что ты, в самом деле... Что тут особенного... Давно бы...

— Как хорошо! Как свободно! Как же сбросить паранджу окончательно?

— Зависит от тебя—захочешь и сбросишь. Поборись немного и добьешься.

А навстречу шли прохожие и не обращали внимания



на двух девушек, из которых одна шла спокойно, а другая нервно и радостно смеялась. Мало ли по каким причинам могут смеяться и волноваться молодые девушки.

---

Мир помутнел в глазах. До всего добираются. Ничего нельзя скрыть! Что делать? А он скрыл: кулацкое происхождение, участие в белой армии, в погромах, в одном бандитском восстании. Работал в мастерской—сначала чернорабочим, затем—два года шофером. Огрубел, окреп—гараж, грузовые автомобили, веселая компания. Пили, танцевали, катали по ночам девушек на легковых машинах. Постепенно забыл о своем прошлом. Он неосторожно выкрикивал в пьяном виде всякие вещи. Это ли навело на след? Возможно. Но так или иначе—разоблачили.

Узнав, напился. Ног не чувствовал. Выехал на тяжелой машине. Улица качалась. Лихая злоба переполняла все тело. Бить! Бить! Крушить!

Налетел на подводу. Вдребезги. Сломанное колесо, кусок оглобли, раненая лошадь. Через нее летящий извозчик. Свистки, крики.

Полный газ. Дальше.

«Сволочи!»

Машина пошла к тротуару.

Шли трое: рабочий, женщина, ребенок. Не мог задержать машины. Налетел. Убиты. Треск. Грохот. Кровь.

Грозные свистки сзади, топот. Мчатся наперерез.

«Я вам покажу».

Впереди поперек легкая повозка с хлебом. Ударил в заднее колесо. Повозка—на-бок, как игрушка, вверх колесами.

Влетел в переулок, на тротуар, на тумбу.

Треск лопнувшей камеры.

Остановили. Вытащили из-за руля. Арестовали.

Суд. Явный классовый враг. Расстрел.

---

Увидел ее впервые на работе. Она работает на хлебо-заводе. Пришел туда по делу и как только вошел в нужное отделение—увидел ее наверху, на балкончике, окружавшем большой бак. Цех был большой, хорошо освещенный, с потолка ложилась тень, балкон был каким-то образом освещен снизу, и на нем появился призрак, что-то невиданное, необыкновенное, в белом, сказочное. Женщина. От нее тоже легла тень, она нагнулась—наверху, под потолком, исчезла, балкон про-ходил в другой зал,—затем опять появилась и сошла вниз по лесенке—стройная, ослепительная в красоте, в чистоте, в прелестном запахе свежего хлеба, в тепле, которым так дышал весь цех. На ней была бело-снежная спецодежда—здесь было такое правило: ра-бочие обязательно перед работой принимали душ и целиком переодевались в свежую спецодежду. Она сошла вниз. Она обдала его запахом тепла, молодости и женственности. Она казалась недоступной. Осле-пительная белизна одежды, гордая и нежная улыбка, белые руки—такие чистые, с крупными белыми паль-цами. Он влюбился в нее... Через полгода женился на ней, уже два года живет с ней и все еще не может забыть первого впечатления—красоты, легкости и сказочности—всего того, что поразило его в первый вечер, когда он увидел ее в цехе.

Он охотно приходит в цех. Она работает там же,

у того же котла, на этом же балконе под освещенным потолком. Такая же тень падает от нее. Она так же прекрасна в своем белом или розовом легком одеянии. Она так же прекрасна, полуголая, чистая, в теплом запахе хлеба, в сосредоточенной радости труда. Она знает, что здесь, в цехе, на работе, она красивее, чем в другой обстановке, и она—немного артистка, как все женщины, до некоторой степени чувствует себя, как в театре.

---

Высокие сапоги, русская рубашка, пиджак. Это—один костюм. Пушистая серая пара, делающая его сразу похожим на иностранца,—другой костюм. Затем есть френч и военная фуражка. Каждый костюм имеет свое назначение.

Он—гость. Это—его ремесло. Это—его главное дело. Гостит он месяцев шесть в году, а то и больше. Его приглашают на сев, на уборку, на открытие заводов, на торжества по поводу выполнения планов, на юбилей театров, землячеств, на всякие годовщины.

Его нельзя не пригласить. Нельзя. Он был на юбилее Кулагина, и на открытии железной дороги, и в Тифлисе на торжестве по поводу электростанции он был томадой. Затем—он приятный человек. Затем—он не просто хвалит, как всякий гость. Он мягко указывает и на недостатки, так что в его устах похвала особенно ценна. Кроме того, он может сказать словечко Семену Ивановичу и товарищу Киндякову. Это существенно.

И вечный гость ждет новых и новых приглашений...

У него всегда готов чемоданчик, в котором собраны необходимые вещи: бритвенные принадлежности, салом



и сода—от изжоги, цитаты, выписанные на все случаи, путеводитель и прочее. Собрать все это каждый раз—хлопотно. Пусть будет наготове.

Он едет за несколько дней до торжества, остается на несколько дней после.

Он улыбочив, доброжелателен, приятен...

Он смотрит на корпуса, на котлованы, на поезда, на электростанции, снисходительно покачивает головой и говорит:

— М-да...

И не всегда замечает взгляды, особенно молодые, в которых недвусмысленно написано, что такие профессиональные перманентные гости—это лишние люди...

---

Сидит в учреждении. Работает. Работает средне-заурядно, средне-добросовестно. Пишет бумажки, припикивает, нажимает звонок, приходит курьерша, уносит, приносит новые бумажки. Звонит по телефону, отвечает. Иногда разнообразит унылые звонки средней шуточкой, много раз слышанной и от него и от других. Выражение лица средне-бледновато-скучно-равнодушновато-приличное. Никому не делает ни добра, ни зла. Считается хорошим товарищем. Любит музыку и вечно поет. Поет про себя, в нос или с закрытым ртом. Выпикивает сложные скрипичные рулады. Пользуется для этого собственным языком (для трелей). Посетителям и товарищам скучно от его пенья до тоски. Стараются сидеть поменьше и уходят. Когда свободен, общается с товарищами. Тоже молчит и выпикивает ртом, носом и языком куски из скрипичных концертов. Для чего все это? Чтобы приbedниться,

казаться проще. Он знает, слышал, что к простачкам относятся лучше. Иногда кладет кому-нибудь на плечо руку и говорит тускленьким, скрипучим голоском:

— Вот что, Ваня. Поедем с тобой в Пермь.

— Почему в Пермь?

— А так. Поедем в Пермь! Хорошо в Перми (это он разыгрывает рубаху-парня). Скоро лето, землянику будем собирать! Поедем!

Товарищ смотрит на него. Он смотрит на товарища. Равнодушные и скука отражаются на обоих лицах.

Но он доволен. Ему кажется, что так надо «общаться». Потом он уходит со службы домой. Дома оживляется, смеется, рассказывает анекдоты, много ест. На утро в учреждении опять натягивает на себя маску из добропорядочной скуки, опять напевает — чтобы поменьше разговаривать — и дружески (какой хороший, простой, откровенный, прямо рубаха-парень!) говорит:

— Поедем, Ваня, в Тверь. Честное слово, хорошо в Твери. Давай! На лодке там покатаемся. Едем! Честное слово!

---

Он громко высказывался против колхозов. Многие помнят, как в синей поддевке он стоял на унавоженной площади и доказывал, что колхозы не нужны. Сейчас он заведует конюшней большого колхоза. Это произошло не сразу. Он приходил на колхозный двор и долго смотрел, как ремонтируют молотилки. Ему позволялось приходиться и смотреть, как молодые конюхи чистят общественных лошадей. Он присутствовал, стоя в задних рядах, на собраниях и внимательно слушал

каждого оратора. Он подолгу смотрел, как весело и быстро сколачивали в районе колхоза новые постройки. Он чувствовал зависть к бабам, которые веселой толпой возвращались с заново построенных оранжерей. Он вступил в колхоз. Он работал сначала сумрачно и сосредоточенно. Сейчас он заведует конюшней. Свою манеру подолгу стоять в свободное время и смотреть на какие-либо работы он оставил—некогда. С лошадьми он проделывает сложные действия. Он куда-то водит их, приводит, опять уводит, особенно некоторых. Лошади содержатся у него в идеальном порядке. Куда же он водит их? За ним незаметно проследили. Некоторых, наиболее худых, он водит к себе, в свой двор, и подкармливает своим собственным сеном, чтобы они выглядели лучше, ибо он заключил договор о соцсовершенствовании.

---

Жара. Полдень. Дорога между хлопковыми полями. В поле работают узбечки-колхозницы. Собирают хлопок. У каждой на животе мешок, в который собирается нежная белая мякоть растения. На этот раз сбор малоуспешен и труден. Было несколько холодных дней. Хлопок в коробках полузамерз. Он влажен и сморщен. Многие коробки не раскрылись. Жалко и неприятно проходить мимо недозревших стеблей.

По дороге редко кто проходит. Поэтому каждый прохожий замечен. И вот идет женщина с девочкой. На женщине зеленая, а не обычная, стандартная серая паранджа. Женщина устала от жары и долгого пути. В поле нет мужчин, и она приоткрыла над лицом тягостный хобот из конского волоса—это главное лицевое прикрытие.



Она смотрит на колхозниц внимательно, с большим любопытством.

Остановилась. Девочка, идущая за ней, несет, обняв обеими руками, большой самовар. Они идут с базара.

Работающих колхозниц раздражает эта парочка. Какое благодушие, какое довольство, какая паранджа на красивой, высокой—совершенно ясно—не робкой и не забитой женщине! Они сбросили паранджи уже больше года, а эта носит ее еще—повидимому, из лицемерия, из трусости, из желания угодить кому-то—мужу или отцу. Ведь им, работницам, тоже нелегко было сбросить это гнусное покрывало—достаточно грозились отцы и мужья—последние находили столько доводов! Но сняли! Сняли, несмотря на трудности! А эта ходит, дрянная кукла! С самоваром! И паранджа еще зеленая, с претензией на отличие и изящество!

И в поле, в звенящей тишине, под голубым безоблачным небом, где на далеком расстоянии слышно каждое слово, — начинается разговор:

— Почему ты еще в парандже? Ты, молодая и здоровая? Нравится легкая жизнь?

Молодая женщина ощущает острый удар от этого вопроса. Она не ждала его. Вначале вспышка злости: какое дело этим женщинам до нее? Но у нее нет слов, чтобы ответить, нет пыла, нехватает задора. Она застигнута врасплох.

Вопрос попал в центр того, что ее давно мучает, делает отсталой, старой, жалкой и против чего еще нет достаточной решимости выступить.

— Богатые закрываются, а бедные ходят открытыми!—продолжает колхозница, так резко говорит это,

так прямо, так обидно, очень обидно, ибо упрек правдив.

Она смущена. Вступить в перебранку нетрудно—кому ума не доставало! Женщина в зеленой парандже могла бы ответить колхозницам—и зло и может быть остроумно. Но она не отвечает. Ей явно неприятно. И больно. И стыдно. Она говорит, трогаясь в дальнейший путь, — стоять здесь и смотреть на работу уже неловко — она говорит:

— Я вовсе не богатая. Я такая же, как вы. Я только на-днях поступила работницей на текстильную фабрику.

И быстро удаляется—стройная даже в парандже, скрывающей формы женщины, и более высокая, чем обычно бывают узбеки. Девочка, слегка напуганная разговором, робко идет за ней с самоваром. Обе удаляются, уменьшаясь в перспективе дороги.

Но короткий разговор оставил явный след. Он остался где-то тут, в голубом, жарком воздухе, он попал в наболевшее место. Женщина в зеленой парандже, текстильная работница, унесла его с собой — унесла упрек нового старому, и он будет долго храниться в ней.

---

Женился на маленькой, худенькой, искусственно скалящей зубы женщине. Она всеми восторгалась, надоела вежливостью, заботливостью. На словах предлагала дешевые покупки, выгодные знакомства, интересные прогулки, а ночью говорила мужу страстным шопотом, что людям надо причинять зло, что люди не понимают добра, нет никакого смысла делать до-

бро, а наоборот, надо делать зло, тогда будут уважать. Так говорил ее покойный папочка, и это верно.

— Тогда зачем же подло улыбаться, и всем все обещать и предлагать, и делать вид доброжелательности и дружелюбности?

— А это так надо,— сказала она страстно, с глубоким убеждением.— Это так надо! — повторила она и попыталась обнять его тонкой ручкой (разговор происходил в постели).

Он резко оттолкнул ее, встал, плюнул и сказал:

— Да ну тебя к чертовой матери с гнусной твоей философией и подлым твоим отцом!

Она поднялась, на мгновенье замерла, затем отбросила одеяло и начала извиваться в истерике. Потом села на пол и стала бить ногами о паркет, кричать, плакать, собирать вещи, бегать по комнатам и т. д. Он хотел ее избить, бросить в нее тяжелым стулом. Такая маленькая, худенькая, а сколько кислотной ненависти, теория какая!.. Сначала в потемках, а потом при свете ему казалось, что в его жизнь вползла гадина, действительно гадина. Но думать было некогда. Надо было бегать за каплями, возиться с ней, успокаивать и мириться.

Через два месяца, уже не ночью, а днем, забыв о скандале, потому что их было много, она опять проникновенно сообщила ему, что нет никакого смысла делать людям добро. Ну, какой смысл? Очень нужно ей делать усилия, чтобы тот толстый дурак поступил на службу или такой-то болван получил бы при ее помощи деньги?! Нет, надо только говорить вежливо, надо сказать: «О, мой милый, я, конечно, все сделаю,



вы сами понимаете»,—а потом сделать наоборот. Именно—наоборот. Это даже приятно—так говорил покойный папочка. Все равно благодарности не будет. Если оказать человеку услугу, он все равно будет недоволен.

Он приходил в ярость. Ну, что за подлая, неотлипчивая философия?! Что за гнусность?! Сколько лет назад подох этот подлый папочка, а гнусные идеи его живы!

Жизнь шла. Шли годы. Он не мог примириться с волчьей философией. Не мог. Не мог также переубедить жену. Это маленькое существо было отравлено. Он не мог без отвращения и—подчас страха—видеть ее любезно оскаленные зубы, слышать ее вежливый восторженный голосок.

Наконец, ушел от нее. Теперь — один — живет и работает на далекой стройке.

Помолодел, повеселел. Чувствует себя прекрасно. Людей любит и помогает всем товарищам, если может помочь. Умываясь по утрам—поет.

---

По внешнему виду—жизнерадостный, разговорчивый. Много разъезжает. Но странно: установилось, что соседи его по купэ стараются бежать от него, перейти в другое купэ, скрыться куда-нибудь. Он уже почти привык к этому.

У него большой румяный рот, из которого исходят одни только мрачные сведения, причем не в мрачной форме, а в самой обыденной.

— Вы куда же едете? В Баку? Через Каспийское море? Да не делайте этого. Ведь там ветры какие.

Закачает. И обязательно отнесет к персидским границам. Три дня будете щепкой носиться. Товарищ мой недавно приехал, больной совсем. Чорт знает, куда отнесло пароходишко! Ведь хороших пароходов нет там. Во время войны потопили, а сейчас один хлам плавает.

Кто-то едет в Ашхабад.

— Это вы? В Ашхабад? Берегитесь пендинки. Не знаете, что такое пендинка? Это язва такая. В Ашхабаде все болеют ею. Это от укуса насекомого или от воды—чорт их знает. Бывает сухая пендинка и мокрая, то есть гнойная. Она стоит круглой ранкой на лице год, и лечить нельзя—неизвестно лечение, и заклеить нельзя—нужно, чтобы ранка была открыта. А инкубационный период этой штуки иногда длится года два, а то и дольше. Таким образом побудете в Ашхабаде две недели, а заболете через год, полтора.

Соседи едут в Ленинград:

— Хороший город! Только климат. Климат отчаянный. Легкие выедает до конца. На болоте город стоит. Ядовитейшие испарения. Вот мой товарищ пожил там четыре года и умер.

Люди едут в Сухум:

— Хорошее место, красивое, только, знаете ли, берегитесь—малярия. Особенно в низменных местах. Старайтесь где-нибудь повыше поселиться, а то внизу, знаете ли, обязательно малярию схватите. Только наверху вряд ли комнату найдете, да и подниматься по этим горам тоже мало удовольствия, и пыль. Ну, знаете, пыль какая!

Румяный говорливый рот неутомим. Он все знает,

всюду был и ото всего предостерегает. Есть тоже почти ничего нигде нельзя: будет изжога, отравы, болезни, обман. И все это говорится в легкой, безобидной форме приятельской беседы, сильного дружеского предупреждения.

Пассажиры-собеседники, тяжело вздыхая, выходят в коридор, стоят там долго, стараются не заходить в купэ. После одного часа его общество становится нестерпимым.

Поговорив, он любит спать, и во сне его большой тревожный рот как бы сообщает одни только мрачные сведения. Часто, просыпаясь, он никого не находит в купэ.

— Где же тут, — спрашивает он у проводника, — двое граждан? Тут же ехали двое.

— Ах, эти! — отвечает проводник. — Перешли в другое купэ.

Он не смущается, берет полотенце, идет мыться, через четверть часа находит новых собеседников и говорливый его, румяный, противный рот опять за работой:

— Куда? На эту стройку? Остерегайтесь там каракуртов. Это змея такая. Укус чаще всего смертелен. Да и сыпной тиф теперь там свирепствует. Распространен также и брюшной. С водой там очень плохо...

---

С детства необычайные способности к музыке и математике. Высвистывал на память целые симфонии, выстукивал на дощечках и бляшках сложные «оркестровые» марши. Прекрасно играл на пианино. К шест-



надцати годам выгнали из музыкальной школы, через год—из консерватории. Раздражала всех белозубая, ленивая, безжалостная, издевательская улыбка. Сидел за пианино, развалился на венском стуле (круглого вертящегося стула не любил), и красивыми белыми костистыми руками, насмешливо прищулив глаза и смеясь,—исключительно добродушно, но и непримиримо издевался над классиками. Хохотал, как ребенок, над концами, над началами. Люди разъярялись. Но он не отвечал, продолжал смеяться и подчеркнуто пародийно играть. Ему говорили:

— Ведь это просто свинство так издеваться над классиками. Ведь надо же учесть эпоху, в которую жил композитор.

Делал серьезное лицо и говорил:

— Да я что же?.. Есть и такие, над которыми не посмеешься. И отдельные места... Вот...

И с необычайным чувством исполнял куски из Бетховена, Шопена, многих других.

В двадцать лет влюбился в жену знакомого дирижера. Приходил, часами играл на пианино, безжалостно разбирал, откинувшись на спинку стула, мировые трафареты, традиционные звучания, высмеивал, иногда хохотал визгливо, разоблачая примитивы миноров и дешевых патетик. Дирижер, обиженный за мировую музыку и потерянную жену, бегал по комнате, рвал на себе волосы:

— Вы дикарь! Варвар! Сумасшедший!

Дирижер запил, уехал, исчез. Жена досталась новатору. За четыре года родила четырех ребят.

Жили бедно. Новатор давал уроки. С трудом. Не мог заниматься с тупыми учениками. Отказывал мно-

гим. Манкировал. Иногда хохотал, вслушиваясь, что и как играют ученики. Наконец бросил учеников, квартиру и жену дирижера с четырьмя детьми.

Женился на девочке семнадцати лет, которую встретил в городском саду. Прожил с ней в глубокой нищете первые революционные годы. Она родила двух детей.

Был инструктором в музкружках. Девочка часто плакала от нищеты и обиды. Наконец ушла—с детьми.

Сейчас он живет с третьей, тоже очень молодой, тоже встретил ее где-то на улице или на бульваре и немедленно женился. Опять дети...

Изобретает музыкальный инструмент нового типа. Дети ползают между досками, играют на полу стружками и струнами. Зарос, постарел, улыбается меньше, но глаза так же упрямо, добродушно и непримиримо прищурены. Написал много вещей. Изобретает новые музыкальные шумы, бродит по паркам, бульварам, говорит сам с собою, неустанно ищет девушек. Преподавать не может. Скучно. Вещи его исполняются редко: слишком сложны. Ходит на аэродром, вслушивается в шумы пропеллеров. Изучает радио, звуковое кино. Делает опыты на пленках.

Иногда с глубоким вздохом, но и одновременно с искреннейшим восторгом говорит о том, какой прекрасной, какой новой будет музыка в советской стране через несколько лет.

---

Никто не мог бы в нем заподозрить совершенно законченного, какого-то всесторонне цельного бездельника. Он действительно ничего не хотел делать. Раз

и навсегда—не умел, не любил и не хотел работать. Молодой, краснощекий, хорошо обтянутый военными ремнями, он был в молодости адъютантом военного начальника. Разъезжал с ним в теплом вагоне. В боях не был ни разу. Заботился о том, чтобы жарко топили вагон. На остановках заводил знакомство с девушками, рассказывал анекдоты. Люди хорошо к нему относились. Располагала к нему его свежесть, молодость. Когда война окончилась, он где-то секретарствовал, ездил на курорты, консультировал. В партии работал так, чтобы не очень бросаться в глаза и не очень отставать. С улыбкой на розовом лице и с всегда готовым анекдотом принимал назначения—все равно куда: в провинцию—так в провинцию, в столицу—так в столицу. На новой работе сейчас же обзаводился молоденькими секретаршами, которые никого к нему не пускали. Он всегда для всех бывал «занят». Если от него что-либо требовали—он обещал. Всегда с радостным, веселым лицом. Деньги? Пожалуйста, завтра получите. Да как же, ведь не выписаны? Пустяки, в минуту выпишут. И денег, конечно, не давали, а секретарши говорили, что его нет, в ближайшие три дня не будет. По телефону его нельзя было вызвать, а если его встречали и жаловались, то он так искренне извинялся и говорил, что «завтра», «сегодня вечером», «через час» все будет сделано,—что самые недоверчивые уходили успокоенные. А все, что он обещал, не исполнялось. Просто: не исполнялось. Он вставал поздно, ему звонили по телефону, он узнавал новости, а именно: кого сняли, перебрали, снизили, наказали, разругали. От всяких репрессий в отношении товарищей или неудач, или не-



приятностей он получал густое, полное, почти чувственное удовольствие. Затем он одевался, завтракал и отправлялся в учреждение. Работать не мог. Ничто его не интересовало. Даже легкий деловой разговор был ему нестерпимо скучен, тягостен, невыносим. Он имел благодушно-занятой, задумчиво-напряженный, точно от решения головоломных задач, вид. Секретарши подавали ему бумажки. Он их со скукой разглядывал и ставил наугад значки: это послать тому-то, это такому-то, на это ответить, на это не отвечать. С интересом он говорил с одним, с двумя приятелями — опять-таки о неприятностях, которые выпадали на долю то того, то этого. В четыре часа уходил или уезжал смертельно утомленный. Обедая и спая после обеда блаженным, сладким сном. Телефон выключался. Вечером шел в театр или в кино с девушкой. В редких случаях — на собрание. Наслаждался в парикмахерских — пышно сидел с закрытыми глазами, пока ему мыли голову. Утром, не раньше двенадцати, свежий, румяный, деловой, на вид энергичный, с туго набитым портфелем, ехал в машине или демократически шел пешком в свое учреждение. Кто бы мог подумать, что это совершенно законченный, неисправимый, хронический бездельник?

---

В крохотную парикмахерскую на кривой ташкентской улочке входит крепкий, костлявый старик и садится в угол.

— Что вам угодно?

— Скажите... (он смущается), скажите... сколько стоит покрасить усы?.. Не дорого?..

Непонятно, на каком языке он говорит—по-русски, но с сильным восточным акцентом; какой он нации,—определить трудно. Годы и солнце нивелировали многое. Может быть, русский, скорее всего—смешанного происхождения, так или иначе, многое выдавший, много живший и остро желающий жить человек. У него живые блестящие глаза, подвижная жадная фигура...

— Усы покрасить?

— Да... (он опять смущается). Немного... да... А это недорого стоит?

Он переживает двух клиентов и наконец говорит парикмахеру:

— Мне, понимаешь ли, усы надо покрасить в темный цвет.

И опять смущается. Очевидно, к этой операции он прибегает редко, он недостаточно уверен в ней, в ее необходимости, в ее смысле.

Он почесывает затылок и сам высказывает вслух свои сомнения:

— Собственно, мне в горы ехать... В горах больше почтения к белым волосам... К белым... но...

Он робко заглядывает в зеркало и продолжает:

— Белая голова, белые усы... Нет... покрасить немного...

И оживляется:

— Ну, ничего, все-таки покрасить надо... Немного...

И садится в кресло перед зеркалом.

Парикмахер, еле заметно улыбаясь, принимается за работу и в конце концов не может удержаться и говорит новому посетителю то, что так ясно, что совершенно и окончательно ясно:

— Жить хотят люди... Всем, всем жить хочется... Старик молчит и сосредоточенно смотрит впереди себя.

Работает в большом учреждении—заведует отделом, добрая, но взбалмошная, быстро утомляющаяся, капризная, опытная настолько, чтобы понимать, что если хочешь сохранить власть, то надо — если нет других способов — в самых редких случаях одобрять работу подчиненных. Но, как правило, нужно быть недовольной, требовать переделок, делать поправки, недовольно отодвигать от себя бумаги и т. д. Ее уже знают. Если ей дают резолюцию, то уже известно — первые пять-шесть строк она зачеркнет и скажет:

— Разве можно так? Ведь это ж полная чепуха! Ну, кто так пишет? Тут же пропущено главное! Я просто поражаюсь, как это вы написали!

И известно, что если уйти и переписать, почти не исправив бумажку, то она через час прочтет и скажет:

— Вот теперь хорошо, это другое дело.

Она сидит с утра в кабинете. У нее нагруженный, работающий вид. Стоят невыпитые стаканы чая. Волосы чуть-чуть растрепаны. Она надрывно говорит по телефону, отмахивается от кого-то, отбрасывает бумажки. И все же ее считают одной из лучших работниц, ценят, уважают. Почему? Потому что она умеет, принимая посетителей, огорченно и искренно говорить, потому что она действительно огорчается, когда в работе замечаются неполадки. Когда она упрекает, то виновным действительно кажется, что они совершили плохое.



— Ну, как ты не понимаешь,—говорит она,—ведь об этом говорил и Петровский, и Сыромятников, и Гусев! Все были поражены! Ну, как ты не понимаешь, что это же возмутительно, что нельзя так оставить это дело...

И так далее. И на добром лице—страдальческое выражение. Голос ее звучит искренно, и посетители смотрят на нее и сами начинают страдать от того, что не доглядели, и как это они не учли, и как это они допустили, чтобы она огорчалась. И ей несут резолюцию, и она читает несколько первых строк и опять:

— Совсем не то. Ну, что вы в самом деле! Совсем, совсем не то!

И опытные товарищи идут переписывать бумажку и дают ей то же самое заново, с изменением лишь нескольких незначащих слов, и она говорит удовлетворенно:

— Вот это другое дело! Вот так я согласна!

И жмет руку товарищам и говорит на прощанье сокрушенно:

— Передайте там, что это безобразие! Безобразие!

И так с утра до вечера. Она утомлена, но продолжает работать и верит в то, что она руководит работой, помогает работе. И действительно, во многих случаях это именно так. Она в чем-то руководит. И это—главное у нее. Других тревог, других огорчений и других страстей нет.

---

Высокий, с вертлявой головой, бегающими глазами. Всюду был. Говорит по-английски. Жил в Америке.

Прошел длинное, сложное подполье у нас. Фронты. Побег. Аресты. Сложнейшие приключения. Лежал в прибрежных камышах, в воде три дня, спасаясь от кого-то. Ценит в людях доброту, говорит: «Какое сердце!» — В разговоре — благословляющие жесты, благословляющие интонации. Все хорошо, красиво: девушки, идеи, борьба. Делает такие жесты руками: надо, мол, многое сказать, но нет слов. Взмолвлено поправляет при этом очки. Основное в нем — жажда деятельности, приключений. Охотно выполнял опасные поручения партии, скитался по подпольям, по местечкам, уездным городкам. Читает приключенческие романы, знает людей, боится их, не верит им, но хочет благословлять. Говорит широко почти о каждом человеке:

— Хороший парень.

А когда его спрашивают: что в нем хорошего — вытягивает голову в широкие плечи и безнадежно машет рукой:

— Мало ли что...

И поправляет очки. С добродушной улыбкой рассказывал, как в Архангельске крестьяне сбрасывали с высокой скалы белых — они из-за особенностей прибоа в этом месте и каких-то водяных круговоротов захлебывались быстро, а потом их выбрасывало, и они носились по воде в стоячем положении, погруженные в воду по пояс, мертвые.

— Зрелище! — добавлял он полуудивленно, полуопределенно, полуюмиленно.

И опять жест: можно сказать многое, но нет слов. Болтлив, но и осторожен. Спешит. Нетерпеливо поглаживает свои острые колени. Ездит по городам. Ест

большим ртом. Много. Попадает в новые коллективы, в новые ячейки. Быстро осваивается с новыми людьми. Читает доклады—очень громким голосом, размахивая руками. Любит пить вино, поговорить о девушках. Работает в учреждении секретарем. Жалуется на головную боль.

---

Ужасная репутация. Работал в учреждении, напутал, провалил большое начинание. Хотел выпутаться—еще более запутал дело. Сколько глупостей натворил, бестактностей... Низко пал человек. Нет, такого надо наказать примерно. Его начали сторониться даже некоторые ближайшие друзья. Опустился как-будто неоправдимо. Надолго, а может быть и навсегда, выскочил из круга, в каком вращался. Скорее его убрать куда-нибудь подальше. Убрали. Послали на работу на далекую окраину, в маленький совхоз. Забыли о нем. Прошло два года. Один из его соратников случайно попал в совхоз. Кто здесь директор? Ах ты, боже мой, оказывается Синиякин! Куда деваться?.. Поздно. Никуда не уйдешь! Он был сначала заместителем, теперь он директор, и вот он идет. Как он изменился! Розовый, спокойный. Ничего не осталось от неприятной всклокоченности. Похорошел, посвежел! Синие, доброжелательные, веселые глаза. Никакой злобы. Ласково и приветливо улыбается. «Осмотрим совхоз?» Не хвастает. Но невозможно не хвалить его. В прекрасных стойлах необычайного веса быки. Конюшни электрифицированы. Новый склад. Плантации. Образцовое хозяйство. Детские ясли с опрятными, хорошо выкрашенными ящиками для платья каждого



ребенка отдельно. Красивые люди, спокойные, приветливые. А эта женщина, молодая, такая соблазнительная и красивая. Кто это? Это его жена... Новая... О чем говорить с ним? Вспоминать прошлое? Нетактично, не нужно. О хозяйстве? Об этом стоит, нужно поговорить—хозяйство хорошее.

— Как он тут работает, ваш директор?

— Очень хорошо. Все довольны.

Пожали друг другу руки. Уехал. (В дороге упорная мысль: вот тебе и погибший человек. Свихнувшийся. Завидно.)

---

Восемнадцатый год. Частичный голод. Хлеба нет, но есть сардинки. В магазинах продают сардинки и чай. Через два дня нет уже и сардинок. Он живет с товарищем в одной комнате. Товарищ старый, давнишний. Он делится с ним всем, что есть. Сегодня он захлопотался: рассчитывал получить хлеб в четыре часа. Пришел — хлеба еще не выдавали. Пришел через час. Поздно. Потом оказалось, что вообще хлеба не было. Так же примерно было и вчера. В общем, вышло так, что не ел второй день. Ничего. Утром только пососал завалявшийся кусочек сахара. Что за чепуха! Ведь невозможно же так! Ночью не мог спать. Проснулся от тошнотного чувства. Что делать? Ведь немислимо же ничего не есть. В комнату торжественно и спокойно светила луна. Товарищ лежал укрытый одеялом через голову. Луна освещала синее одеяло. Оно слегка ритмически поднималось над лицом и грудью спящего. Это его заинтересовало. Что это? Отчего? Дыхание? Нет, дыхание не может так поды-

мать ватное одеяло. Что же? Товарищ, повидимому, спал.

— Володя!

Молчание. Движение одеяла прекратилось. Луна светила так же ровно, ярко. Через несколько минут, опять на том месте, где было лицо и грудь, начало приподниматься и опускаться одеяло. Что же это такое, в самом деле? Что это могло означать? Осторожно спустил ноги на пол, нагнулся, прислушался. Тихо. Одеяло бесшумно поднимается и опускается. Луна освещает его. Наконец не выдержал. Бесшумно подошел и быстро приподнял одеяло. То, что увидел, запомнилось на всю жизнь и изменило отношение к людям: товарищ лежал на спине и ел большую белую булку, держа ее обеими руками и бережно откусывая кусок за куском. Лицо было красное и безнадежно смущенное.

Прошло много лет. Евший булку выдвинулся, стал известным человеком. Потом стал терять известность. Известность надо поддерживать новыми делами. Но— как в хорошие для него времена, так и в плохие— товарищ, глядя на него, часто вспоминает об истории с булкой. Она для него характерна.

---

Домик в горах Таджикистана. Вокруг камни. Тропинка каменная, дворик каменный, лестницы каменные, берег быстрой речки каменный. Камни круглые, острые, плоские, гладкие, торчком стоящие, вывороченные, розоватые, голубоватые, разных других оттенков... На дне реки тоже камни. Над домом камни, по обе стороны

от дома тоже камни. Каменистая тропинка, ведущая к дороге, и дорога сплошь каменная.

В доме живет колхозник с двумя детьми. Дети красивые, черноглазые. Лица нежные, женственные—трудно различить: мальчик или девочка. Босые ножки ловко ходят по камням. По острым, по плоским, по круглым, гладким, щербатым, мокрым, сухим. Куда бы ни прикоснулось тело—камень. Стоит на камне, садится на камень, локоть ставит на камень, ложится тоже на камень. Странное сочетание красивых нежных лиц, стройных, изящных, гибких тел—с камнями. Только камнями.

Ни на минуту не смолкает шум. Это вода стучит по камням. Ветер свистит, воет. Он бьется о камни, каменные утесы, каменные плиты. Сыпет мелкие камешки по крутизнам.

Иногда от гор откалываются большие камни, с грохотом и злым треском падают они опять на камни, дробя и дробясь для того, чтобы опять обтачиваться водой и ветром...

Горячее солнце нагревает камни. Нестерпимый жар идет от них. Дожди бьются о камни, создавая тысячи звонких, заунывных мелодий.

...На высоком узком камне стоит ребенок-таджик. Удивительный народ! Какие красивые лица! Сколько мягкости и нежности во всем облике, в глазах, губах. Ребенок подвижен. Он соскакивает с высокого камня на маленькие, острые. Кожа ног приспособлена. Он прикасается к ним мягко, ловко, умело как к чему-то ласковому и мягкому.

Трудная природа. Трудная родина. Но какой огненной, неповторимой нежнейшей любовью он любит и



будет любить эту каменистую речку, эти каменные тропинки, эти каменные песни воды и ветра... Ни на что не променяет он ее. Почему-то это так ясно, так отчетливо ощущается—так любима, так дорога ему эта каменная родина! Светлая, солнечная и свободная!

---

**ЛЕНИН** в поэзии  
НАРОДОВ  
ВОСТОКА



Составил  
АЛЕКСАНДР  
БАТНХОВ

Издательство «Детская литература»  
Москва

\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

АНДРЕ ЖИД

**СТРАНИЦЫ  
ИЗ ДНЕВНИКА**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

БОРИС ЛЕВИН

**Н И Н А**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН**  
**ИЗБРАННЫЕ САТИРЫ**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**И. ИЛЬФ и Е. ПЕТРОВ**  
**ДИРЕКТИВНЫЙ БАНТИК**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**БЕЛА ИЛЛЕШ**  
**Шесть ударов молотка**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**А. СТАРЧАКОВ**  
**ТАРАС ШЕВЧЕНКО**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**О ЖЕЛЕЗНОМ**  
**СТИХИ**



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

**ИСААК ЗАРУБИН**  
**НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ**

«ИСКРА»



\*\*\*  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА  
1974

Цена 40 коп.

М 5 8 9 3



Продолжается прием подписки на 1935 год  
НА БИБЛИОТЕКУ «ОГОНЕК»

Подписная цена: Б-ка «ОГОНЕК» (6 экз. в месяц):  
12 мес. — 12 р., 6 мес. — 6 р., 3 мес. — 3 р.

Журнал «ОГОНЕК» (36 номеров в год): 12 мес. — 7 р. 20 к.,  
6 мес. — 3 р. 60 к., 3 мес. — 1 р. 80 к.

Подписка принимается: Москва 6, Страстной  
бульвар, 11. Жургазобъединением и повсеместно  
почтой и отделениями Союзпечати.

Журнально-газетное объединение